



# Январь

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### І. Вместо предисловия О Большой и Малой Медведицах, о молитве великого Гете и вообще о дурных привычках

...Хлестаков, по крайней мере, врал-врал у городничего, но все же капельку боялся, что вот его возьмут, да и вытолкают из гостиной. Современные Хлестаковы ничего не боятся и врут с полным спокойствием.

Нынче все с полным спокойствием. Спокойны и, может быть, даже счастливы. Вряд ли кто дает себе отчет, всякий действует «просто», а это уже полное счастье. Нынче, как и прежде, все проедены самолюбием, но прежнее самолюбие входило робко, оглядывалось лихорадочно, вглядывалось в физиономии: «Так ли я вошел? Так ли я сказал?» Нынче же всякий и прежде всего уверен, входя куда-нибудь, что все принадлежит ему одному. Если же не ему, то он даже и не сердится, а мигом решает дело; не слышали ли вы про такие записочки:

«Милый папаша, мне двадцать три года, а я еще ничего не сделал<sup>1</sup>; убежденный, что из меня ничего не выйдет, я решил покончить с жизнью...»

---

<sup>1</sup> Неточно цитируемые слова Дона Карлоса из пьесы Ф. Шиллера «Дон Карлос, инфант испанский» (1787; д. II, явл. 2), ставшие крылатым выражением:

«Двадцать третий год —

И ничего не сделать для потомства!»

(Пер. М. М. Достоевского)

И застреливается. Но тут хоть что-нибудь да понятно: «Для чего-де и жить, как не для гордости?» А другой посмотрит, походит и застрелится молча, единственно из-за того, что у него нет денег, чтобы нанять любовницу. Это уже полное свинство.

Уверяют печатно, что это у них от того, что они много думают. «Думает-думает про себя, да вдруг где-нибудь и вынырнет, и именно там, где наметил». Я убежден, напротив, что он вовсе ничего не думает, что он решительно не в силах составить понятие, до дикости неразвит, и если чего захочет, то утробно, а не сознательно; просто полное свинство, и вовсе тут нет ничего либерального. И при этом ни одного гамлетовского вопроса:

Но страх, что будет там...<sup>1</sup>

И в этом ужасно много странного. Неужели это безмыслие в русской природе? Я говорю безмыслие, а не бессмыслие. Ну, не верь, но хоть помысли. В нашем самоубийце даже и тени подозрения не бывает о том, что он называется я и есть существо бессмертное. Он даже как будто никогда не слышал о том ровно ничего. И, однако, он вовсе и не атеист. Вспомните прежних атеистов: утратив веру в одно, они тотчас же начинали страстно веровать в другое. Вспомните страстную веру Дидро, Вольтера... У наших — полное *tabula rasa*<sup>2</sup>, да и какой тут Вольтер: просто нет денег, чтобы нанять любовницу, и больше ничего.

Самоубийца Вертер, кончая с жизнью, в последних строках, им оставленных, жалеет, что не увидит более «прекрасного созвездия Большой Медведицы», и прощается с ним. О, как сказался в этой черточке только

---

<sup>1</sup> Цитата из трагедии У. Шекспира «Гамлет» в переводе Н. А. Полевого (д. III, явл. 1, монолог «Быть или не быть...»).

<sup>2</sup> пустота; букв. — чистая доска (*лат.*).

что начинавшийся тогда Гете! Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, что он сознавал, каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных чудес божиих вовсе не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а, стало быть, равна ему и роднит его с бесконечностью бытия... и что за все счастье чувствовать эту великую мысль, открывающую ему: кто он? — он обязан лишь *своему лику человеческому*.

«Великий Дух, благодарю Тебя за лик человеческий, Тобою данный мне».

Вот какова должна была быть молитва великого Гете во всю жизнь его. У нас разбивают этот данный человеку лик совершенно просто и без всяких этих немецких фокусов, а с Медведицами, не только с Большой, да и с Малой-то, никто не вздумает попрощаться, а и вздумает, так не станет: очень уж это ему стыдно будет.

— О чем это вы заговорили? — спросит меня удивленный читатель.

— Я хотел было написать предисловие, потому что нельзя же совсем без предисловия.

— В таком случае лучше объясните ваше направление, ваши убеждения, объясните: что вы за человек и как осмелились объявить «Дневник писателя»?

Но это очень трудно, и я вижу, что я не мастер писать предисловия. Предисловие, может быть, так же трудно написать, как и письмо. Что же до либерализма (вместо слова «направление» я уже прямо буду употреблять слово: «либерализм»), что до либерализма, то всем известный Незнакомец, в одном из недавних фельетонов своих, говоря о том, как встретила пресса наша новый 1876 год, упоминает, между прочим, не без едкости, что все обошлось достаточно либерально. Я рад, что он проявил тут едкость. Действительно, либерализм наш обра-

тился в последнее время повсеместно — или в ремесло или в дурную привычку. То есть сама по себе это была бы вовсе не дурная привычка, но у нас все это как-то так устроилось. И даже странно: либерализм наш, казалось бы, принадлежит к разряду успокоенных либерализмов; успокоенных и успокоившихся, что, по-моему, очень уж скверно, ибо квиетизм всего бы меньше, кажется, мог ладить с либерализмом. И что же, несмотря на такой покой, повсеместно являются несомненные признаки, что в обществе нашем мало-помалу совершенно исчезает понимание о том, что либерально, а что вовсе нет, и в этом смысле начинают сильно сбиваться; есть примеры даже чрезвычайных случаев сбивчивости. Короче, либералы наши, вместо того чтоб стать свободнее, связали себя либерализмом как веревками, а потому и я, пользуясь сим любопытным случаем, о подробностях либерализма моего умолчу. Но вообще скажу, что считаю себя всех либеральнее, хотя бы по тому одному, что совсем не желаю успокоиваться. Ну вот и довольно об этом. Что же касается до того, какой я человек, то я бы так о себе выразился: «Je suis un homme heureux qui n'a pas l'air content», то есть по-русски: «Я человек счастливый, но — кое-чем недовольный»...

На этом и кончаю предисловие. Да и написал-то его лишь для формы.

## II. Будущий роман. Опять «случайное семейство»<sup>1</sup>

В клубе художников была елка и детский бал, и я отправился посмотреть на детей. Я и прежде всегда смотрел на детей, но теперь присматриваюсь

---

<sup>1</sup> Этим термином Достоевский обозначал семью, в которой распались внутренние связи и которая находится в состоянии «хаоса» и «беспорядка».

особенно. Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и конечно о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении. Поэма готова и создалась прежде всего, как и всегда должно быть у романиста. Я возьму отцов и детей по возможности из всех слоев общества и прослежу за детьми с их самого первого детства.

Когда, полтора года назад, Николай Алексеевич Некрасов приглашал меня написать роман для «Отечественных записок», я чуть было не начал тогда моих «Отцов и детей», но удержался, и слава Богу: я был не готов. А пока я написал лишь «Подростка» — эту первую пробу моей мысли. Но тут дитя уже вышло из детства и появилось лишь неготовым человеком, робко и дерзко желающим поскорее ступить свой первый шаг в жизни. Я взял душу безгрешную, но уже загрязненную страшною возможностью разврата, раннюю ненавистью за ничтожность и «случайность» свою и тою широкостью, с которою еще целомудренная душа уже допускает сознательно порок в свои мысли, уже лелеет его в сердце своем, любит его еще в стыдливых, но уже дерзких и бурных мечтах своих, — все это оставленное единственно на свои силы и на свое разумение, да еще, правда, на Бога. Все это выкидыши общества, «случайные» члены «случайных» семей.

В газетах все недавно прочли об убийстве мещанки Перовой и об самоубийстве ее убийцы. Она с ним жила, он был работником в типографии, но потерял место, она же снимала квартиру и пускала жильцов. Началось несогласие. Перова просила его ее оставить. Характер убийцы был из новейших: «Не мне, так никому». Он дал ей слово, что «оставит ее», и варварски зарезал ее ночью, обдуманно и преднамеренно, а затем зарезался сам. Перова оставила двух детей, мальчи-

ков 12 и 9 лет, прижитых ею незаконно, но не от убийцы, а еще прежде знакомства с ним. Она их любила. Оба они были свидетелями, как с вечера он, в страшной сцене, измучил их мать попреками и довел до обморока, и просили ее не ходить к нему в комнату, но она пошла.

Газета «Голос» взывает к публике о помощи «несчастливым сиротам», из коих один, старший, воспитывался в 5-й гимназии, а другой пока жил дома. Вот опять «случайное семейство», опять дети с мрачным впечатлением в юной душе. Мрачная картина останется в их душах навеки и может болезненно надорвать юную гордость еще с тех дней,

...когда нам новы  
Все впечатленья бытия<sup>1</sup>,

а из того не по силам задачи, раннее страдание самолюбия, краска ложного стыда за прошлое и глухая, замкнувшаяся в себе ненависть к людям, и это, может быть, во весь век. Да благословит господь будущее этих неповинных детей, и пусть не перестают они любить во всю жизнь свою их бедную мать, без упрека и без стыда за любовь свою. А помочь им надо непременно. На этот счет общество наше отзывчиво и благородно. Неужели им оставить гимназию, если уж они начали с гимназии? Старший, говорят, не оставит, и его судьба будто уж устроена, а младший? Неужто соберут рублей семьдесят или сто, а там и забудут про них? Спасибо и «Голосу», что напоминает нам о несчастных.

---

<sup>1</sup> Перефразированная Достоевским цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Демон» (1823).

**III. Елка в клубе художников.  
Дети мыслящие и дети облегчаемые.  
«Обжорливая младость». Вуйки.  
Толкающиеся подростки.  
Поторопившийся московский капитан**

Елку и танцы в клубе художников я, конечно, не стану подробно описывать; все это было уже давно и в свое время описано, так что я сам прочел с большим удовольствием в других фельетонах. Скажу лишь, что слишком давно перед тем нигде не был, ни в одном собрании, и долго жил уединенно.

Сначала танцевали дети, все в прелестных костюмах. Любопытно проследить, как самые сложные понятия прививаются к ребенку совсем незаметно, и он, еще не умея связать двух мыслей, великолепно иногда понимает самые глубокие жизненные вещи. Один ученый немец сказал, что всякий ребенок, достигая первых трех лет своей жизни, уже приобретает целую треть тех идей и познаний, с которыми ляжет стариком в могилу. Тут были даже шестилетние дети, но я наверно знаю, что они уже в совершенстве понимали: почему и зачем они приехали сюда, разряженные в такие дорогие платица, а дома ходят замарашками (при теперешних средствах среднего общества — непременно замарашками). Мало того, они наверно уже понимают, что так именно и надо, что это вовсе не уклонение, а нормальный закон природы. Конечно, на словах не выразят; но внутренне знают, а это, однако же, чрезвычайно сложная мысль.

Из детей мне больше понравились самые маленькие; очень были милы и развязны. Постарше уже развязны с некоторою дерзостью. Разумеется, всех развязнее и веселее была будущая середина и бездарность, это уже общий закон: середина всегда развязна, как в детях,



так и в родителях. Более даровитые и обособленные из детей всегда сдержаннее, или если уж веселы, то с непрменной повадкой вести за собою других и командовать. Жаль еще тоже, что детям теперь так все облегчают — не только всякое изучение, всякое приобретение знаний, но даже игру и игрушки. Чуть только ребенок станет лепетать первые слова, и уже тотчас же начинают его облегчать. Вся педагогика ушла теперь в заботу об облегчении. Иногда облегчение вовсе не есть развитие, а, даже напротив, есть отупление. Две-три мысли, два-три впечатления поглубже выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь да рядом выходит ни то ни се, ни доброе ни злое, даже и в разврате не развратное, и в добродетели не добродетельное.

Что устрицы, пришли? О радость!  
Летит обжорливая младость  
Глотать...<sup>1</sup>

Вот эта-то «обжорливая младость» (единственный дрянной стих у Пушкина потому, что высказан совсем без иронии, а почти с похвалой) — вот эта-то обжорливая младость из чего-нибудь да делается же? Скверная младость и нежелательная, и я уверен, что слишком облегченное воспитание чрезвычайно способствует ее выделке; а у нас уж как этого добра много!

Девочки все-таки понятнее мальчиков. Почему это девочки, и почти вплоть до совершеннолетия (но не далее), всегда развитее или кажутся развитее однолетних с ними мальчиков? Девочки особенно понятны в танцах: так и прозреваешь в иной будущую «Вуйку»,

---

<sup>1</sup> Цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина («Отрывки из путешествия Онегина»).

которая ни за что не сумеет выйти замуж, несмотря на все желание. Вуйками я называю тех девиц, которые до тридцати почти лет отвечают вам: вуй да нон. Зато есть и такие, которые, о сию пору видно, весьма скоро выйдут замуж, тотчас как пожелают.

Но еще циничнее, по-моему, одевать на танцы чуть не взрослую девочку все еще в детский костюм; право нехорошо. Иные из этих девочек так и остались танцевать с большими, в коротеньких платьицах и с открытыми ножками, когда в полночь кончился детский бал и пустились в пляс родители.

Но мне все чрезвычайно нравилось, и если бы только не толкались подростки, то все обошлось бы к полному удовольствию. В самом деле, взрослые все празднично и изящно вежливы, а подростки (не дети, а подростки, будущие молодые люди, в разных мундирчиках, и которых была тьма) — толкаются нестерпимо, не извиняясь и проходя мимо с полным правом. Меня толкнули раз пятьдесят; может быть, их так тому и учат для развития в них развязности. Тем не менее мне все нравилось, с долгой отвычки, несмотря даже на страшную духоту, на электрические солнца и на неистовые командные крики балетного распорядителя танцев.

Я взял на днях один номер «Петербургской газеты» и в нем прочел корреспонденцию из Москвы о скандалах на праздниках в дворянском собрании, в артистическом кружке, в театре, в маскарade и проч. Если только верить корреспонденту (ибо корреспондент, возвещая о пороке, мог с намерением умолчать о добродетели), то общество наше никогда еще не было ближе к скандалу, как теперь. И странно: отчего это, еще с самого моего детства, и во всю мою жизнь, чуть только я попадал в большое праздничное собрание русских людей, тотчас всегда мне начинало казаться, что это они только так, а вдруг возьмут, встанут и следуют дебош, совсем как у себя дома. Мысль нелепая

и фантастическая, — и как я стыдился и упрекал себя за эту мысль еще в детстве! Мысль, не выдерживающая ни малейшей критики. О, конечно, купцы и капитаны, о которых рассказывает правдивый корреспондент (я ему вполне верю), и прежде были и всегда были, это тип неумирающий; но все же они более боялись и скрывали чувства, а теперь, нет-нет, и вдруг прорвется, на самую середину, такой господин, который считает себя совсем уже в новом праве. И бесспорно, что в последние двадцать лет даже ужасно много русских людей вдруг вообразили себе почему-то, что они получили полное право на бесчестье, и что это теперь уже хорошо, и что их за это теперь уже похвалят, а не выведут. С другой стороны, я понимаю и то, что чрезвычайно приятно (о, многим, многим!) встать посреди собрания, где все кругом, дамы, кавалеры и даже начальство так сладки в речах, так учтивы и равны со всеми, что как будто и в самом деле в Европе, — встать посреди этих европейцев и вдруг что-нибудь гаркнуть на чистейшем национальном наречии, — свиснуть кому-нибудь оплеуху, отмочить пакость девушке и вообще тут же среди залы нагадить: «Вот, дескать, вам за двухсотлетний европеизм, а мы вот они, все как были, никуда не исчезли!» Это приятно. Но все же дикарь ошибется: его не признают и выведут. Кто выведет? Полицейская сила? Нет-с, совсем не полицейская сила, а вот именно такие же самые дикари, как и этот дикарь! Вот она где сила. Объяснюсь.

Знаете ли, кому, может быть, всех приятнее и драгоценнее этот европейский и праздничный вид собирающегося по-европейски русского общества? А вот именно Сквозникам-Дмухановским, Чичиковым и даже, может быть, Держиморде, то есть именно таким лицам, которые у себя дома, в частной жизни своей — в высшей степени национальны. О, у них есть и свои собрания и танцы, там, у себя дома, но они их не ценят

и не уважают, а ценят бал губернаторский, бал высшего общества, об котором слышали от Хлестакова<sup>1</sup>, а почему? А именно потому, что сами не похожи на хорошее общество. Вот почему ему и дороги европейские формы, хотя он твердо знает, что сам, лично, он не раскается и вернется с европейского бала домой все тем же самым кулачником; но он утешен, ибо хоть в идеале да почтил добродетель. О, он совершенно знает, что все это мираж; но все же он, побывав на бале, удостоверился, что этот мираж продолжается, чем-то все еще держится, какою-то невидимую, но чрезвычайно силою, и что вот он сам даже не посмел выйти на середину и что-нибудь гаркнуть на национальном наречии, — и мысль о том, что ему этого не позволили, да и впредь не позволят, чрезвычайно ему приятна. Вы не поверите, до какой степени может варвар полюбить Европу; все же он тем как бы тоже участвует в культе. Без сомнения, он часто и определить не в силах, в чем состоит этот культ. Хлестаков, например, полагал, что этот культ заключается в том арбузе в сто рублей, который подают на балах высшего общества<sup>2</sup>. Может быть, Сквозник-Дмухановский так и остался до сих пор в той же самой уверенности про арбуз, хотя Хлестакова и раскусил, и презирает его, но он рад хоть и в арбузе почтить добродетель. И тут вовсе не лицемерие, а самая полная искренность, мало того — потребность. Да и лицемерие тут даже хорошо действует, ибо что такое лицемерие? Лицемерие есть та самая дань, которую порок обязан платить добродетели, — мысль безмерно утешительная для человека, желающего оставаться порочным практически, а между тем не разрывать,

---

<sup>1</sup> Н. В. Гоголь. «Ревизор», д. III, явл. 6.

<sup>2</sup> В указанной выше сцене подвыпивший Хлестаков хвастливо заявляет: «На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз...».

хоть в душе, с добродетелью<sup>1</sup>. О, порок ужасно любит платить дань добродетели, и это очень хорошо; пока ведь для нас и того достаточно, не правда ли? А потому и гаркнувший среди залы в Москве капитан продолжает быть лишь исключением и поторопившимся человеком, ну, по крайней мере, пока; но ведь и «пока» даже утешительно в наше зыбучее время.

Таким образом бал есть решительно консервативная вещь, в лучшем смысле слова, и я совсем не шучу говоря это.

#### IV. Золотой век в кармане

А впрочем, мне было и скучно, то есть не скучно, а немного досадно. Кончился детский бал и начался бал отцов, и боже, какая, однако, бездарность! Все в новых костюмах, и никто не умеет носить костюм; все веселятся, и никто не весел; все самолюбивы, и никто не умеет себя показать; все завистливы, и все молчат и сторонятся. Даже танцевать не умеют. Взгляните на этого вертящегося офицера очень маленького роста (такого, очень маленького ростом и зверски вертящегося офицера вы встретите непременно на всех балах среднего общества). Весь танец его, весь прием его состоит лишь в том, что он с каким-то почти зверством, какими-то саккадами<sup>2</sup>, вертит свою даму и в состоянии перевертеть тридцать-сорок дам сряду и гордится этим; но какая же тут красота! Танец — это ведь почти объяснение в любви (вспомните менуэт), а он точно дерется. И пришла мне в голову одна фантастическая и донельзя дикая мысль: «Ну что, — подумал я, — ес-

---

<sup>1</sup> Изречение французского писателя Франсуа де Ларошфуко (1613–1680) из его книги «Размышления, или нравоучительные изречения и максимы».

<sup>2</sup> Саккада (*фр.* saccade) — рывок, толчок.

ли б все эти милые и почтенные гости захотели, хоть на миг один, стать искренними и простодушными, — во что бы обратилась тогда вдруг эта душная зала? Ну, что если б каждый из них вдруг узнал весь секрет? Что если б каждый из них вдруг узнал, сколько заключено в нем прямоты, честности, самой искренней сердечной веселости, чистоты, великодушных чувств, добрых желаний, ума, — куда ума! — остроумия самого тонкого, самого общительного, и это в каждом, решительно в каждом из них!» Да, господа, в каждом из вас все это есть и заключено, и никто-то, никто-то из вас про это ничего не знает! О, милые гости, клянусь, что каждый и каждая из вас умнее Вольтера, чувствительнее Руссо, несравненно обольстительнее Алкивиада, Дон-Жуана, Лукреций, Джульет и Беатричей! Вы не верите, что вы так прекрасны? А я объявляю вам честным словом, что ни у Шекспира, ни у Шиллера, ни у Гомера, если б и всех-то их сложить вместе, не найдется ничего столь прелестного, как сейчас, сию минуту, могло бы найтись между вами, в этой же бальной зале. Да что Шекспир! тут явилось бы такое, что и не снилось нашим мудрецам. Но беда ваша в том, что вы сами не знаете, как вы прекрасны! Знаете ли, что даже каждый из вас, если б только захотел, то сейчас бы мог осчастливить всех в этой зале и всех увлечь за собой? И эта мощь есть в каждом из вас, но до того глубоко запрятанная, что давно уже стала казаться невероятною. И неужели, неужели золотой век существует лишь на одних фарфоровых чашках? Не хмурьтесь, ваше превосходительство, при слове *золотой век*: честное слово даю, что вас не заставят ходить в костюме золотого века, с листком стыдливости, а оставят вам весь ваш генеральский костюм вполне. Уверяю вас, что в золотой век могут попасть люди даже в генеральских чинах. Да попробуйте только, ваше превосходительство, хотя бы сейчас, — вы же старший по чину, вам инициатива, —

и вот увидите сами, какое пироновское<sup>1</sup>, так сказать, остроумие могли бы вы вдруг проявить, совсем для вас неожиданно. Вы смеетесь, вам невероятно? Рад, что вас рассмешил, и, однако же, все, что я сейчас навосклицал, не парадокс, а совершенная правда... А беда ваша вся в том, что вам это невероятно.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### I. Мальчик с ручкой

Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед Рождеством, я все встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем, — значит его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил «с ручкой»; это технический термин, значит — просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчишки. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, — стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмушая: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои. Набрал копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников<sup>2</sup>, из тех са-

---

<sup>1</sup> Речь идет о французском поэте Алексисе Пироне (1689—1773), который прославился как автор едких эпиграмм.

<sup>2</sup> Т. е. мастеровых.

мых, которые, «забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером». Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекшимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол,

...и в рот мне водку скверную  
Безжалостно вливал...<sup>1</sup>

Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но все, что он заработает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят все — голод, холод, побои, — только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации,

---

<sup>1</sup> Неточная цитата из стихотворения Н.А. Некрасова «Детство» (1855):

От матери украдкою  
Меня к себе сажал  
И в рот мне водку гадкую  
По капле наливал.



есть ли Бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однако же, все факты.

## II. Мальчик у Христа на елке

Но я романист и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне Рождества, в *каком-то* огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему наконец в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она

совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», — подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потомдохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел до подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откуда он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется — никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь — Господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица, — ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже

пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие — миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копейку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копейка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, Господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, — только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, — вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не

знает куда, в подворотню, на чужой двор, — и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страха и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, — подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, — совсем как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»

— Пойдем ко мне на елку, мальчик, — прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и... и вдруг, — о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом все куколки, — но нет, это все мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

— Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! — кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. — Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? — спрашивает он, смеясь и любя их.

— Это «Христова елка», — отвечают они ему. — У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки... — И узнал он, что мальчики эти и девочки все были все такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестнице к дверям петербургских чиновников; другие задохлись у чухонков, от

воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей (во время самарского голода), четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей... А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо...

А внизу, наутро, дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму... Та умерла еще прежде его; оба свиделись у господ бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, — то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа — уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

### **III. Колония малолетних преступников.**

#### **Мрачные особи людей.**

#### **Переделка порочных душ в непорочные.**

#### **Средства к тому, признанные наилучшими.**

#### **Маленькие и дерзкие друзья человечества**

На третий день праздника я видел всех этих «падших» ангелов, целых пятьдесят вместе. Не подумайте, что я смеюсь, называя их так, но что это «оскорбленные» дети — в том нет сомнения. Кем оскорбленные?

Как и чем и кто виноват? — все это пока праздные вопросы, на которые нечего отвечать, а лучше к делу.

Я был в колонии малолетних преступников, что за Пороховыми заводами. Я давно порывался туда, но не удавалось, а тут вдруг и свободное время, и добрые люди, которые мне вызвались все показать. Мы отправились в теплый, немного хмурый день, и за Пороховыми заводами прямо въехали в лес; в этом лесу и колония. Что за прелесть лес зимой, засыпанный снегом; как свежо, какой чистый воздух и как здесь уединенно. Тут до пятисот десятин лесу пожертвовано колонии, и вся она состоит из нескольких деревянных, красиво выстроенных домов, отстоящих друг от друга на некотором расстоянии. Все это выстроено на пожертвованные деньги, каждый дом обошелся тысячи в три, в каждом доме живет «семья». Семья — это группа мальчиков от двенадцати до семнадцати человек, и в каждой семье по воспитателю. Мальчиков положено пока иметь до семидесяти, судя по размерам колонии, но в настоящее время, почему-то, всего лишь до пятидесяти воспитанников. Надобно сознаться, что средства употреблены широкие, и каждый маленький преступник обходится в год недешево. Странно и то, что санитарное состояние колонии, как извещали еще недавно в газетах, не совсем удовлетворительно: в последнее время было много больных, а уж как, кажется, хороши бы и воздух и содержание детей! Мы провели в колонии несколько часов, с одиннадцати утра до полных сумерек, но я убедился, что в одно посещение во все не вникнешь и всего не поймешь. Директор заведения приглашал меня приехать пожить дня два с ними; это очень заманчиво.

Директор П. А-ч Р-ский известен в литературе; его статьи появляются иногда в «Вестнике Европы». Я встретил от него самый приветливый прием, полный предупредительности. В конторе заведена книга, в которую посетители, если хотят, вписывают свои име-

на. Между записавшимися я заметил много известных имен; значит, колония известна, и ею интересуются. Но при всей предупредительности почтенный директор, кажется, человек очень сдержанный, хотя он почти с восторгом выставлял перед нами отрядные черты колонии, в то же время, однако, несколько смягчая все неприятное и еще неналаженное. Спешу прибавить, что сдержанность эта, как мне показалось, происходит от самой ревливой любви к колонии и к начатому делу.

Все четыре воспитателя (кажется, их четверо, по числу семей) все люди не старые, даже молодые, получают по триста рублей жалованья и почти все вышли из семинарии. Они живут с воспитанниками совсем вместе, даже носят с ними почти одинаковый костюм — нечто вроде блузы, подпоясанной ремнем. Когда мы обходили камеры, они были пусты; дело праздничное, и дети где-то играли, но тем удобнее было осмотреть помещения. Никакой ненужной роскоши, ничего слишком излишнего, навеянного излишнею добротою или гуманностью жертвователей и учредителей заведения, — а это очень могло бы случиться, и вышла бы значительная ошибка. Койки, например, самые простые, железные, складные, белье на них из довольно грубого холста, одеяла тоже весьма нещегоольские, но теплые. Воспитанники встают рано и сами, все вместе, убираются, чистят камеры и, когда надо, моют полы. Близ иных коек слышался некоторый запах, и я узнал почти невероятную вещь, что иные из воспитанников (немногие, но, однако, человек восемь или девять) и не очень маленькие, лет даже двенадцати и тринадцати, — так и делают свою нужду во сне, не вставая с койки. На вопрос мой: не особая ли тут какая болезнь — мне ответили, что совсем нет, а просто от того, что они дикие, — до того приходят дикими, что даже и понять не могут, что можно и надо вести себя иначе. Но где же они были в таком случае до того, в каких трушобах

выросли и кого видели! Нет почти такой самой бедной мужицкой семьи, где бы ребенка не научили в этом случае, как надо держать себя, и где бы даже самый маленький мальчик не знал того. Значит, каковы же люди, с которыми он сталкивался, и до чего зверски равнодушно относились они к существованию его! Этот факт, однако же, точный, и я считаю его большой важности; пусть не смеются, что я этот грязненький фактик «вздуваю» до таких размеров: он гораздо серьезнее, чем может показаться. Он свидетельствует, что есть же, стало быть, до того мрачные и страшные особи людей, в которых исчезают даже всякие следы человечности и гражданственности. Понятно также после того, во что обращается, наконец, эта маленькая, дикая душа при такой покинутости и при такой изверженности из людей. Да, эти детские души видели мрачные картины и привыкли к сильным впечатлениям, которые и останутся при них, конечно, навеки и будут сниться им всю жизнь в страшных снах. Итак, с этими ужасными впечатлениями надобно войти в борьбу исправителям и воспитателям этих детей, искоренить эти впечатления и насадить новые; задача большая.

— Вы не поверите, какими сюда являются дикими иными из них, — сказал мне П. А-ч: — ничего иной не знает ни о себе, ни о социальном своем положении. Он бродяжил почти бессознательно и единственное, что он знает на свете и что он мог осмыслить, — это его свобода, свобода бродяжить, умирать с холоду и с голоду, но только бродяжить. Здесь есть один маленький мальчик, лет десяти, не больше, и он до сих пор никак, ни за что не может пробыть, чтобы не украсть. Он ворует даже безо всякой цели и выгоды, единственно чтобы украсть, машинально.

— Как же вы надеетесь перевоспитать таких детей?

— Труд, совершенно иной образ жизни и справедливость в обращении с ними; наконец, и надежда, что



в три года, сами собою, временем, забудутся ими старые их пристрастия и привычки.

Я осведомился: нет ли между мальчиками еще и других, известных детских порочных привычек? — Кстати напомним, что мальчики здесь от десяти и даже до семнадцатилетнего возраста, хотя принимаются на исправление никак не старше четырнадцати лет.

— О, нет, этих скверных привычек не может и быть, — поспешил ответить П. А-ч, — воспитатели при них неотлучно и беспрестанно наблюдают за этим.

Но мне показалось это невероятным. В колонии есть некоторые из бывшего отделения малолетних преступников еще в Литовском замке, теперь там уничтоженного. Я был в этой тюрьме еще третьего года и видел этих мальчиков. Потом я узнал с совершенною достоверностью, что разврат между ними в замке был необычайный, что те из поступивших в замок бродяг, которые еще не заражены были этим развратом и сначала гнушались им, подчинялись ему потом почти поневоле, из-за насмешек товарищей над их целомудрием.

— А много ли было рецидивистов? — осведомился я.

— Не так много; из всех выпущенных из колонии было всего до восьми человек (цифра, однако, не маленькая).

Замечу, что воспитанники выпускаются по преимуществу ремесленниками и им приискывается «предварительно» помещение. Прежде паспорта, выдаваемые от колонии, им очень вредили. Теперь же нашли средство выдавать им такие паспорта, из которых нельзя, с первого взгляда по крайней мере, увидеть, что предъявитель его из колонии преступников.

— Зато, — прибавил поспешно П. А-ч, — у нас есть и такие выпущенные, которые до сих пор не могут забыть о колонии и чуть праздник — непременно приходят к нам побывать и погостить с нами.

Итак, самое сильное средство перевоспитания, перделки оскорбленной и опороченной души в ясную и честную есть труд. Трудом начинается день в камере, а затем воспитанники идут в мастерские. В мастерских: в слесарной, в столярной, мне показывали их изделия. Поделки, по возможности, хороши, но конечно будут и гораздо лучше, когда более наладится дело. Они продаются в пользу воспитанников, и у каждого таким образом скопляется что-нибудь к выходу из колонии. Работою дети заняты и утром, и после обеда, — но без утомления и, кажется, труд действительно оказывает довольно сильное впечатление на их нравственную сторону: они стараются сделать лучше один перед другим и гордятся успехами.

Другое средство их духовного развития — это, конечно, самосуд, введенный между ними. Всякий провинившийся из них поступает на суд всей «семьи», к которой принадлежит, и мальчики или оправдывают его, или присуждают к наказанию. Единственное наказание — отлучение от игр. Не подчиняющихся суду товарищей наказывают уже совершенным отлучением от всей колонии. На то есть у них Петропавловка — так прозвана мальчиками особая, более удаленная изба, в которой имеются каморки для временно удаленных. Впрочем, заключение в Петропавловку зависит, кажется, единственно от директора. Мы ходили в эту Петропавловку; там было тогда всего двое заключенных, и замечу, что заключают осторожно и осмотрительно, за что-нибудь слишком уж важное и закоренелое. Эти двое заключенных помещались каждый в особой маленькой комнатке и взаперти, но нам их лично не показали.

Этот самосуд, в сущности, конечно, дело хорошее, но отзывается как бы чем-то книжным. Есть много гордых детей, и гордых в хорошую сторону, которые могут быть оскорблены этою вечевою властью таких же

как они мальчиков и преступников, так что могут и не понять эту власть настоящим образом. Могут случиться личности гораздо талантливее и умнее всех прочих в «семье», и их может укусить самолюбие и ненависть к решению среды; а среда почти и всегда середина. Да и судящие мальчики понимают ли и сами-то хорошо свое дело? Не явятся ли, напротив, и между ними их детские партии каких-нибудь тоже соперничающих мальчиков, посильнее и побойчее прочих, которые всегда и непременно являются между детьми во всех школах, дают тон и ведут за собою остальных как на веревке? Все же ведь это дети, а не взрослые. Наконец, осужденные и потерпевшие наказание будут ли смотреть потом так же просто и братски на своих бывших судей и не нарушается ли этим самосудом товарищество? Конечно, это развивающее воспитательное средство основано и придумано в той идее, что эти, прежде преступные дети таким правом самосуда как бы приучаются к закону, к самосдержанию, к правде, о которой прежде вовсе не ведали, разовьют, наконец, в себе чувство долга. Все это мысли прекрасные и тонкие, но несколько как бы обоюдоострые. Насчет же наказания, конечно, выбрано самое действительное из самых сдерживающих наказаний, то есть лишение свободы.

Кстати, вверну сюда одно странное нотабене. Мне нечаянно удалось услышать на днях одно весьма неожиданное замечание насчет отмененного у нас повсеместно в школах телесного наказания: «Отменили везде в школах телесное наказание и прекрасно сделали; но чего же, *между прочим*, достигли? Того, что в нашем юношестве явилось чрезвычайно много трусов, сравнительно с прежним. Они стали бояться малейшей физической боли, всякого страдания, лишения, всякой даже обиды, всякого уязвления их самолюбия, и до того, что некоторые из них, как показывают при-

меры, при весьма незначительной даже угрозе, даже от каких-нибудь трудных уроков или экзаменов, — вешаются или застреливаются». Действительно, всего вернее объяснить несколько подобных и в самом деле происшедших случаев единственно трусостью юношей перед чем-нибудь грозящим или неприятным; но странная, однако, точка зрения на предмет, и *наблюдение* это по меньшей мере оригинально. Вношу его для памяти.

Я видел их всех за обедом; обед самый простой, но здоровый, сытный и превосходно приготовленный. Мы его с большим удовольствием попробовали еще до прихода воспитанников; и однако, еда каждого мальчика обходится ежедневно всего лишь в пятнадцать копеек. Подают суп или щи с говядиной и второе блюдо — каша или картофель. Поутру, вставши, чай с хлебом, а между обедом и ужином хлеб с квасом. Мальчики очень сыты; за столом прислуживают очередные дежурные. Садясь за стол, все превосходно пропели молитву: «Рождество твое Христе Боже наш». Петь молитвы обучает один из воспитателей.

Тут, за обедом, в сборе, мне всего интереснее было всмотреться в их лица. Лица не то чтобы слишком смелые или дерзкие, но лишь ничем не конфузящиеся. Почти ни одного лица глупого (хотя глупые, говорили мне, между ними водятся; всего более отличаются этим бывшие питомцы воспитательного дома); напротив, есть даже очень интеллигентные лица. Дурных лиц довольно, но не физически; чертами лица все почти недурны; но что-то в иных лицах есть как бы уж слишком сокрытое про себя. Смеющихся лиц тоже мало, а между тем воспитанники очень развязны перед начальством и перед кем бы то ни было, хотя несколько и не в том роде, как бывают развязны другие дети с более открытым сердцем. И, должно быть, ужасно многим из них хотелось бы сейчас улизнуть из колонии. Многие

из них, очевидно, желают не проговариваться, это по лицам видно.

Гуманное и до тонкости предупредительное обращение с мальчиками воспитателей (хотя, впрочем, они и умеют быть строгими, когда надо), — мне кажется, не совсем достигает в некоторых случаях до сердца этих мальчиков и, уж конечно, и до их понятия. Им говорят *вы*, даже самым маленьким. Это *вы* показалось мне здесь несколько как бы натянутым, немного как бы чем-то излишним. Может быть, мальчики, попав сюда, сочтут это лишь за господскую затею. Одним словом, это *вы*, может быть, ошибка и даже несколько серьезная. Мне кажется, что оно как бы отдаляет от детей воспитателя; в *вы* заключается как бы нечто формальное и казенное, и нехорошо, если иной мальчик примет его за нечто как бы к нему презрительное. Ведь не поверит же он в самом деле, что он, видевший такие непомерные виды и выслушивавший самую неестественную брань, наконец, провинившись до потери удержу, так вдруг заслужил такое господское обращение. Одним словом, *ты*, по-моему, было бы более похожим на реальную правду в настоящем случае, а тут как бы все немного притворяются. Ведь гораздо же лучше, если дети наконец осмыслят, что воспитатели их не гувернеры, а отцы их, а что сами они — всего только лишь дурные дети, которых надобно исправлять. Впрочем, может быть, это *вы* и не испортит мальчика; а если его и скорчит потом от *ты* или даже от брани, которую он услышит опять неминуемо, в тот же самый день, как его выпустят из заведения, то еще с большим умилением вздохнет по своей колонии.

Из неналаженных вещей особенно замечается чтение. Мне говорили, что дети очень любят читать, то есть слушать, когда им читают, по праздникам или когда есть время, и что между ними есть хорошие чте-

цы; я слышал лишь одного из чтецов, он читал хорошо и, говорят, очень любит читать всем вслух и чтоб все его слушали; но есть между ними и совсем малограмотные, есть и совсем неграмотные. Но что, однако, у них читают! Лежит на столе — я видел это в одной семье после обеда — какой-то том, какого-то автора, и они читают, как Владимир разговаривал с какой-то Ольгой об разных глубоких и странных вещах и как потом неизбежная среда «разбила их существование». Я видел их «библиотеку» — это шкаф, в котором есть Тургенев, Островский, Лермонтов, Пушкин и т. д., есть несколько полезных путешествий и проч. Все это сборное и случайное, тоже пожертвованное. Чтение, если уж оно допущено, конечно, есть чрезвычайно развивающая вещь, но я знаю и то, что если б и все наши просветительные силы в России, со всеми педагогическими советами во главе, захотели установить или указать: что именно принять к чтению таким детям и при таких обстоятельствах, то, разумеется, разошлись бы, ничего не выдумав, ибо дело это очень трудное и решается окончательно не в заседании только. С другой стороны, в нашей литературе совершенно нет никаких книг, понятных народу. Ни Пушкин, ни «Севастопольские рассказы», ни «Вечера на хуторе», ни сказка про Калашникова, ни Кольцов (Кольцов даже особенно) непонятны совсем народу. Конечно, эти мальчики не народ, а, так сказать, Бог знает кто, такая особь человеческих существ, что и определить трудно: к какому разряду и типу они принадлежат? Но если б они даже нечто и поняли, то уж, конечно, совсем не ценя, потому что все это богатство им упало бы как с неба; они же прежним развитием совсем к нему не приготовлены. Что же до писателей-обличителей и сатириков, то такие ли впечатления духовные нужны этим бедным детям, видевшим и без того столько грязи? Может быть, этим

маленьким людям вовсе не хочется над людьми смеяться. Может быть, эти покрытые мраком души с радостью и умилением открылись бы самым наивным, самым первоначально-простодушным впечатлениям, совершенно детским и простым, таким, над которыми свысока усмехнулся бы, ломаясь, современный гимназист или лицеист, сверстник летами этих преступных детей.

Школа тоже находится в совершенном младенчестве, но ее тоже собираются наладить в самом ближайшем будущем. Черчению и рисованию почти совсем не учат. Закона Божия вовсе нет: нет священника. Но он будет у них свой, когда у них выстроится церковь. Церковь эта деревянная, теперь строится. Начальство и строители гордятся ею. Архитектура действительно недурна, в несколько, впрочем, казенном, усиленно русском стиле, очень приевшемся. Кстати, замечу: без сомнения, преподавание Закона Божия в школах — преступников или в других наших первоначальных школах — не может быть поручено никому другому, кроме священника. Но почему бы не могли даже школьные учителя рассказывать простые рассказы из священной истории? Бесспорно, из великого множества народных учителей могут встретиться действительно дурные люди; но ведь если он захочет учить мальчика атеизму, то может сделать это и не уча священной истории, а просто рассказывая лишь об утке и «чем она покрыта». С другой стороны, что слышно о духовенстве нашем? О! Я вовсе не хочу никого обижать и уверен, что в школе преступников будет превосходнейший из «батюшек», но, однако же, что сообщали в последнее время, с особенною ревностью, почти все наши газеты? Публиковались пренеприятные факты о том, что находились законоучители, которые, целыми десятками и сплошь, бросали школы и не хотели в них учить без прибавки жалованья. Бесспорно —

«трудящийся достоин платы»<sup>1</sup>, но этот вечный ной о прибавке жалованья режет, наконец, ухо и мучает сердце. Газеты наши берут сторону ноющих, да и я конечно тоже; но как-то все мечтается притом о тех древних подвижниках и проповедниках Евангелия, которые ходили наги и босы, претерпевали побои и страдания и проповедовали Христа без прибавки жалованья. О, я не идеалист, я слишком понимаю, что ныне времена наступили не те; но не отраднo ли было бы услышать, что духовным просветителям нашим прибавилось хоть капельку доброго духу еще и до прибавки жалованья? Повторяю, пусть не обижаются; все отлично знают, что, в среде нашего священства, не иссякает дух и есть горячие деятели. И я заране уверен, что такой именно и будет в колонии; но всего бы лучше, если б им — просто рассказывали священные истории, без особой казенной морали и тем ограничили бы пока законоучение. Ряд чистых, святых, прекрасных картин сильно подействовал бы на их жаждающие прекрасных впечатлений души...

Впрочем, я простился с колонией с отраднoм впечатлением в душе. Если что и не «налажено», то есть, однако же, факты самого серьезного достижения цели. Расскажу из них два, чтоб закончить ими. В Петропавловке, в заключении, в наше время сидел один из воспитанников, лет уже пятнадцати; прежде он содержался некоторое время в тюрьме Литовского замка, когда там еще было отделение малолетних преступников. Присужденный поступить в колонию, он из нее бежал, бежал, кажется, дважды; оба раза его изловили, один раз уже вне заведения. Наконец, он прямо объявил, что

---

<sup>1</sup> Перефразированные слова из Евангелия: «трудящийся достоин пропитания» (Евангелие от Матфея, гл. 10, ст. 10) и «трудящийся достоин награды за труды свои» (Евангелие от Луки, гл. 10, ст. 7).



не хочет повиноваться, за это его и удалили в одиночное заключение. К Рождеству родственники принесли ему гостинцев, но гостинцев к нему не допустили как к заключенному, и их конфисковал воспитатель. Это страшно обидело и поразило мальчика, и в посещение директора он стал ему горько жаловаться, ожесточенно обвиняя воспитателя в том, что тот посылку и гостинцы конфисковал себе, в свою пользу; тут же со злобой и насмешкой выражался об колонии и об товарищах, он всех винил. «Я с ним сел и серьезно поговорил, — рассказывал мне П. А-ч. — Он все время мрачно молчал. Через два часа он вдруг посылает за мною опять, умоляет прийти к нему — и что же: бросился ко мне со слезами, весь потрясенный и преобразившийся, стал каяться, упрекать себя, стал мне рассказывать такие вещи, которые от всех доселе таил, случившиеся с ним прежде; рассказал за тайну, что он давно уже предан одной постыднейшей привычке, от которой не может отвязаться, и что это его мучит, — одним словом, это была полная исповедь. Я с ним провел часа два, — прибавил П. А-ч. — Мы поговорили; я посоветовал некоторые средства, чтоб побороть привычку, ну там и проч. и проч.»

П. А-ч, передавая это, усиленно умолчал, об чем они там между собою переговорили; но, согласитесь, есть же уменье проникнуть в болезненную душу глубоко ожесточившегося и совершенно не знавшего доселе правды молодого преступника. Признаюсь, я бы очень желал узнать в подробности этот разговор. Вот другой факт: каждый воспитатель, в каждой семье, не только наблюдает за тем, чтобы воспитанники убирали камеру, мыли и чистили ее, но и участвует вместе с ними в работе. Там моют полы по субботам; воспитатель не только показывает, как надо мыть, но сам вместе с ними принимается мыть и вымывает пол. Это уже самое полное понимание своего призвания и своего

человеческого достоинства. Где вы, в чиновничестве, например, встретите такое отношение к делу? И если в самом деле, вправду, эти люди решились соединить задачи колонии с своею собственною целью жизни, то дело, конечно, будет «налажено», несмотря даже ни на какие теоретические ошибки, если б таковые и случились вначале.

— «Герои, — вы, господа романисты, все ищите героев, — сказал мне на днях один выдавший виды человек, — и, не находя у нас героев, сердитесь и брюзжите на всю Россию, а вот я вам расскажу один анекдот: жил-был один чиновник, давно уже, в царствование покойного государя, сперва служил в Петербурге, а потом, кажется, в Киеве, там и умер, — вот, по-видимому, и вся его биография. А между тем, что бы вы думали: этот скромный и молчаливый человек до того страдал душой всю жизнь свою о крепостном состоянии людей, о том, что у нас человек, образ и подобие Божие, так рабски зависит от такого же, как сам, человека, что стал копить из скромнейшего своего жалованья, отказывая себе, жене и детям почти в необходимом, и по мере накопления выкупал на волю какого-нибудь крепостного у помещика, — в десять лет по одному, разумеется. Во всю жизнь свою он выкупил таким образом трех-четырёх человек и, когда помер, семье ничего не оставил. Все это произошло безвестно, тихо, глухо. Конечно, какой это герой: это „идеалист сороковых годов“ и только, даже, может быть, смешной, неумелый, ибо думал, что одним мельчайшим частным случаем может побороть всю беду; но все-таки можно бы, кажется, нашим Потугиным<sup>1</sup> быть подобнее к России и не бросать в нее за все про все грязью».

---

<sup>1</sup> Речь идет о персонаже романа И. С. Тургенева «Дым» Созонте Ивановиче Потугине, который был «совершенным западником».

Я помещаю здесь этот анекдот (кажется, совсем не идущий к делу) лишь потому только, что не имею поводов сомневаться в его достоверности.

И, однако, вот бы нам каких людей! Я ужасно люблю этот комический тип маленьких человечков, серьезно воображающих, что они своим микроскопическим действием и упорством в состоянии помочь общему делу, не дожидаясь общего подъема и почина. Вот такого типа человек пригодился бы, может быть, и в колонии малолетних преступников... о, разумеется, под руководством более просвещенных и, так сказать, высших руководителей...

Впрочем, я в колонии провел всего лишь несколько часов и мог многое напредставить себе, недоглядеть и ошибиться. Во всяком случае, средства к переделке порочных душ в непорочные нахожу пока недостаточными.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### **І. Российское общество покровительства животным. Фельдъегерь. Зелено-вино. Зуд разврата и воробьев. С конца или с начала?**

В № 359 «Голоса» мне случилось прочесть о праздновании торжественного юбилея первого десятилетия Российского Общества покровительства животным. Какое приятное и гуманное общество! Сколько я понял, главная мысль его заключается почти вся в следующих словах из речи князя А. А. Суворова, председателя Общества:

«И на самом деле, задача нашего нового благотворительного учреждения казалась тем труднее, что в покровительстве животным большинство не желало

видеть тех моральных и материальных выгод для человека, какие проистекают из снисходительного и разумного с его стороны обращения с домашними животными».

И действительно, не одни же ведь собачки и лошадки так дороги «Обществу», а и человек, русский человек, которого надо образить<sup>1</sup> и очеловечить, чему Общество покровительства животным, без сомнения, может способствовать. Научившись жалеть скотину, мужик станет жалеть и жену свою. А потому, хотя я и очень люблю животных, но я слишком рад, что высокоуважаемому «Обществу» дороги не столько скоты, сколько люди, огрубевшие, негуманные, полуварвары, ждущие света! Всякое просветительное средство дорого, и желательно лишь, чтобы идея Общества стала и в самом деле одним из просветительных средств. Наши дети воспитываются и возрастают, встречая отвратительные картины. Они видят, как мужик, наложив непомерно воз, сечет свою завязшую в грязи клячу, его кормилицу, кнутом по глазам, или, как я видел сам, например, да еще и недавно, как мужик, везший на бойню в большой телеге телят, в которой уложил их штук десять, сам преспокойно сел тут же в телегу на теленка. Ему сидеть было мягко, точно на диване с пружинами, но теленок, высунув язык и вылупив глаза, может, издох, еще не доехав до бойни. Эта картинка, я уверен, никого даже и не возмутила на улице: «все-де равно их резать везут»; но такие картинки, несомненно, зверят человека и действуют развратительно, особенно на детей. Правда, на почтенное «Общество» были и нападки; я слышал не раз и насмешки. Упоми-

---

<sup>1</sup> Образить — словцо народное, дать образ, восстановить в человеке образ человеческий. Долго пьянствующему говорят, укоряя: «Ты хошь бы образил себя». Слышал от каторжных. — *Примеч. Ф. М. Достоевского.*

налось, например, что когда-то, лет пять тому, одного извозчика Общество привлекло к ответственности за дурное обращение с лошастью и его присудили заплатить, кажется, пятнадцать рублей; это-то уж, конечно, было неловкостью, потому что, действительно, после такого приговора многие не знали кого пожалеть: извозчика или лошадь. Теперь, правда, положено брать, по новому закону, не более десяти рублей. Потом я слышал будто бы о слишком излишних хлопотах Общества, чтобы бродяжих и, стало быть, вредных собак, потерявших хозяев, умерщвлять хлороформом. Замечали на это, что, пока у нас люди мрут с голоду по голодным губерниям, такие нежные заботы о собачках несколько как бы режут ухо. Но все подобные возражения не выдерживают никакой критики. Цель Общества вековечнее временной случайности. Это идея светлая и верная и которая, рано ли, поздно ли, а должна привиться и восторжествовать. Тем не менее, смотря и с другой точки, чрезвычайно бы желательно, чтобы действия Общества и вышесказанные «временные случайности» вошли, так сказать, во взаимное равновесие; тогда, конечно, яснее бы определился тот спасительный и благодетельный путь, которым Общество может прийти к обильным и, главное, к практическим уже результатам, к результатам действительного достижения цели... Может быть, я неясно выражаюсь; расскажу один анекдот, одно действительное происшествие, и надеюсь, что наглядным изложением его яснее передам то, что мне хотелось выразить.

Анекдот этот случился со мной уже слишком давно, в мое доисторическое, так сказать, время, а именно в тридцать седьмом году, когда мне было всего лишь около пятнадцати лет от роду, по дороге из Москвы в Петербург. Я и старший брат мой ехали, с покойным отцом нашим, в Петербург, определяться в Главное инженерное училище. Был май месяц, было жарко. Мы

ехали на долгих, почти шагом, и стояли на станциях часа по два и по три. Помню, как надоело нам, под конец, это путешествие, продолжавшееся почти неделю. Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали об чем-то ужасно, обо всем «прекрасном и высоком», — тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. И сколько тогда было и ходило таких прекрасных словечек! Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали все, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. Тогда, всего два месяца перед тем, скончался Пушкин, и мы, дорогой, сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух. И вот раз, перед вечером, мы стояли, на станции, на постоялом дворе, в каком селе не помню, кажется в Тверской губернии; село было большое и богатое. Через полчаса готовились тронуться, а пока я смотрел в окно и увидел следующую вещь.

Прямо против постоялого двора через улицу приходился станционный дом. Вдруг к крыльцу его подлетела курьерская тройка и выскочил фельдъегерь в полном мундире, с узенькими тогдашними фалдочками назад, в большой трехугольной шляпе с белыми, желтыми и, кажется, зелеными перьями (забыл эту подробность и мог бы справиться, но мне помнится, что мелькали и зеленые перья). Фельдъегерь был высокий, чрезвычайно плотный и сильный детина с багровым лицом. Он пробежал в станционный дом и уж наверно «хлопнул» там рюмку водки. Помню, мне тогда сказал наш извозчик, что такой фельдъегерь всегда на каждой станции выпивает по рюмке, без того не выдержал бы «такой муки». Между тем к почтовой станции подкати-

ла новая переменная лихая тройка, и ямщик, молодой парень лет двадцати, держа на руке армяк, сам в красной рубахе, вскочил на облучок. Тотчас же выскочил и фельдъегерь, сбежал с ступенек и сел в тележку. Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду. Разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов, непрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и наконец нахлестал их до того, что они неслись как угорелые. Наш извозчик объяснил мне, что и все фельдъегеря почти так же ездят, а что этот особенно, и его все уже знают: что он, выпив водки и вскочив в тележку, начинает всегда с битья и бьет «все на этот самый манер», безо всякой вины, бьет ровно, подымает и опускает и «продержит так ямщика с версту на кулаках, а затем уж перестанет. Коли соскучится, может, опять примется среди пути, а может, Бог пронесет; зато уж всегда подымается опять, как подъезжать опять к станции: начнет примерно за версту и пойдет подымать и опускать, таким манером и подъедет к станции, чтобы все в селе на него удивлялись; шея-то потом с месяц болит». Парень воротится, смеются над ним: «Ишь, тебе фельдъегерь шею накостылял», а парень, может, в тот же день прибудет молоду жену: «Хоть с тебя сорву»; а может, и за то, что «смотрела и видела»...

Без сомнения, бесчеловечно со стороны ямщика так хлестать и нахлестать лошадей: к следующей станции

они прибежали, разумеется, едва дыша и измученные. Но кто же бы из Общества покровительства животным решился привлечь этого мужика к ответственности за бесчеловечное обращение с своими лошадами, ведь не правда ли?

Эта отвратительная картинка осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь. Я никогда не мог забыть фельдъегеря и многое позорное и жестокое в русском народе как-то поневоле и долго потом наклонен был объяснять уж, конечно, слишком односторонне. Вы поймете, что дело идет лишь о давно минувшем. Картинка эта являлась, так сказать, как эмблема, как нечто чрезвычайно наглядно выставлявшее связь причины с ее последствием. Тут каждый удар по скоту, так сказать, сам собою выскакивал из каждого удара по человеку. В конце сороковых годов, в эпоху моих самых беззаветных и страстных мечтаний, мне пришла вдруг однажды в голову мысль, что если б случилось мне когда основать филантропическое общество, то я непременно дал бы вырезать эту курьерскую тройку на печати общества как эмблему и указание.

О, без сомнения, теперь не сорок лет назад, и курьеры не бьют народ, а народ уже сам себя бьет, удержав розги на своем суде. Не в этом и дело, а в причинах, ведущих за собою следствия. Нет фельдъегеря, зато есть «зелено-вино». Каким образом зелено-вино может походить на фельдъегеря? — Очень может, — тем, что оно так же скотинит и зверит человека, ожесточает его и отвлекает от светлых мыслей, тупит его перед всякой доброй пропагандой. Пьяному не до сострадания к животным, пьяный бросает жену и детей своих. Пьяный муж пришел к жене, которую бросил и не кормил с детьми много месяцев, и потребовал водки, и стал бить ее, чтобы вымучить еще водки, а несчастная каторжная работница (вспомните женский труд и во что он у нас пока ценится), не знавшая чем де-



тей прокормить, схватила нож и пырнула его ножом. Это случилось недавно, и ее будут судить. И напрасно я рассказал об ней, ибо таких случаев сотни и тысячи, только разверните газеты. Но главнейшее сходство зелена-вина с фельдъегерем бесспорно в том, что оно так же неминуемо, и так же неотразимо стоит над человеческой волей.

Почтенное Общество покровительства животным состоит из семисот пятидесяти членов, людей могущих иметь влияние. Ну что если б оно захотело поспособствовать хоть немного уменьшению в народе пьянства и отравления целого поколения вином! Ведь иссякает народная сила, глохнет источник будущих богатств, беднеет ум и развитие, — и что вынесут в уме и сердце своем современные дети народа, выросшие в скверне отцов своих? Загорелось село и в селе церковь, вышел целовальник и крикнул народу, что если бросят отстаивать церковь, а отстоят кабаки, то выкатит народу бочку. Церковь сгорела, а кабаки отстояли. Примеры эти еще пока ничтожные, ввиду неисчисленных будущих ужасов. Почтенное Общество, если б захотело хоть немного поспособствовать устранению первоначальных причин, тем самым наверно облегчило бы себе и свою прекрасную пропаганду. А то как заставить сострадать, когда вещи сложились именно как бы с целью искоренить в человеке всякую человечность? Да и одно ли вино свирепствует и развращает народ в наше удивительное время? Носится как бы какой-то дурман повсеместно, какой-то зуд разврата. В народе началось какое-то неслыханное извращение идей с повсеместным поклонением материализму. Материализмом я называю, в данном случае, преклонение народа перед деньгами, пред властью золотого мешка. В народ как бы вдруг прорвалась мысль, что мешок теперь все, заключает в себе всякую силу, а что все, о чем говорили ему и чему учили его доселе отцы, — все вздор.

Беда, если он укрепитя в таких мыслях; как ему и не мыслить так? Неужели, например, это недавнее крушение поезда на Одесской железной дороге с царскими новобранцами, где убили их более ста человек, — неужели вы думаете, что на народ не подействует такая власть развратительно? Народ видит и дивится такому могуществу: «Что хотят, то и делают» — и поневоле начинает сомневаться: «Вот она где, значит, настоящая сила, вот она где всегда сидела; стань богат, и все твое, и все можешь». Развратительнее этой мысли не может быть никакой другой. А она носится и пронизает все мало-помалу. Народ же ничем не защищен от таких идей, никаким просвещением, ни малейшей проповедью других противоположных идей. По всей России протянулось теперь почти двадцать тысяч верст железных дорог, и везде, даже самый последний чиновник на них, стоит пропагатором<sup>1</sup> этой идеи, смотрит так, как бы имеющий беззаветную власть над вами и над судьбой вашей, над семьей вашей и над честью вашей, только бы вы попались к нему на железную дорогу. Недавно один начальник станции вытащил, собственно властью и рукой, из вагона, ехавшую даму, чтобы отдать ее какому-то господину, который пожаловался этому начальнику, что это жена его и находится от него в бегах, — и это без суда, без всякого подозрения, что он сделать это не вправе: ясно, что этот начальник, если был и не в бреду, то все же как бы ошалел от собственного могущества. Все эти случаи и примеры прорываются в народ непрерывным соблазном, он видит их каждый день и выводит неотразимые заключения. Я прежде осуждал было г-на Суворина за случай его с г-ном Голубевым. Мне казалось, что нельзя же так вывести совсем неповинного человека на позор, да еще с описанием всех душевных его движений. Но теперь

---

<sup>1</sup> Т. е. распространителем.

я несколько изменил свой взгляд даже и на этот случай. И какое мне дело, что г-н Голубев не виноват! Г-н Голубев может быть чист, как слеза, но зато Воробьев виноват. Кто такой Воробьев? Совершенно не знаю; да и уверен, что его нет вовсе, но это тот самый Воробьев, который свирепствует на всех линиях, который налагает произвольные таксы, который силой выносит пассажиров из вагона, который крушит поезда, который гноит по целым месяцам товары на станциях, который беспардонно вредит целым городам, губерниям, царству и только кричит диким голосом: «Прочь с дороги, я иду!» Но главная вина этого пагубного пришельца в том, что он стал над народом как соблазн и развратительная идея. А впрочем, что ж я так на Воробьева, один ли он стал как развратительная идея? Повторяю, что-то носится в воздухе полное материализма и скептицизма; началось обожание даровой наживы, наслаждения без труда; всякий обман, всякое злодейство совершаются хладнокровно; убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана. Я ведь знаю, что и прежде было много скверного, но ныне бесспорно удесятирилось. Главное, носится такая мысль, такое как бы учение или верование. В Петербурге, две-три недели тому, молодецкий паренек, извозчик, вряд ли даже совершеннолетний, вез ночью старика и старуху, и, заметив, что старик без сознания пьян, вынул *перочинный ножичек* и стал резать старуху. Их захватили, и дурачок тут же повинился: «Не знаю, как и случилось и как ножичек очутился в руках». И вправду, действительно не знал. Вот тут так именно среда. Его захватило и затянуло, как в машину, в современный зуд разврата, в современное направление народное; — даровая нажива, ну, как не попробовать, хоть перочинным ножичком.

«Нет, в наше время не до пропаганды покровительства животным: это барская затея», — вот эту самую фразу я слышал, но глубоко ее отвергаю. Не будучи

сам членом Общества, я готов, однако, служить ему, и, кажется, уже служу. Не знаю, выразил ли я хоть сколько-нибудь ясно желание мое о том «равновесии действий Общества с временными случайностями», о которых написал выше; но, поднимая человеческую и очеловечивающую цель Общества, все же ему глубоко предан. Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все, когда-нибудь, образованы, очеловечены и счастливы. Я знаю и верую твердо, что всеобщее просвещение никому у нас повредить не может. Верую даже, что царство мысли и света способно водвориться у нас, в нашей России, еще скорее, может быть, чем где бы то ни было, ибо у нас и теперь никто не захочет стать за идею о необходимости озверения одной части людей для благосостояния другой части, изображающей собою цивилизацию, как это везде во всей Европе. У нас же добровольно, самим верхним словом, с царскою волею во главе, разрушено крепостное право! И потому, еще раз, приветствую Общество покровительства животным от горячего сердца; а хотел я лишь только высказать мысль, что желалось бы действовать не все с конца, а хоть отчасти бы и с начала.

## **II. Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это черти**

Но вот, однако же, я исписал всю бумагу, и нет места, а я хотел было поговорить о войне, о наших окраинах; хотелось поговорить о литературе, о декабристах и еще

на пятнадцать тем по крайней мере. Вижу, что надобно писать теснее и сжиматься, — указание впредь. Кстати, словечко о декабристах, чтобы не забыть: извещая о недавней смерти одного из них, в наших журналах отозвались, что это, кажется, один из самых последних декабристов; — это не совсем точно. Из декабристов живы еще Иван Александрович Анненков, тот самый, первоначальную историю которого перековеркал покойный Александр Дюма-отец, в известном романе своем «*Les Mémoires d'un maître d'armes*»<sup>1</sup>. Жив Матвей Иванович Муравьев-Апостол, родной брат казненного. Живы Свистунов и Назимов; может быть, есть и еще в живых. Одним словом — многое приходится отложить до февральского номера. Но заключить настоящий январский дневник мне хотелось бы чем-нибудь повеселее. Есть одна такая смешная тема, и, главное, она в моде: это — черти, тема о чертях, о спиритизме<sup>2</sup>. В самом деле, что-то происходит удивительное: пишут мне, например, что молодой человек садится на кресло, поджав ноги, и кресло начинает скакать по комнате, — и это в Петербурге, в столице! Да почему же прежде никто не скакал, поджав ноги, в креслах, а все служили и скромно получали чины свои? Уверяют, что у одной дамы, где-то в губернии, в ее доме столько чертей, что и половины их нет столько даже в хижине дядей Эдди. Да у нас ли не найдется чертей! Гоголь пишет в Москву с того света утвердительно, что это черти. Я читал письмо, слог его. Убеждает не вызывать чертей, не вертеть столов, не связываться: «Не дразните чертей, не якшайтесь, грех дразнить чертей... Если ночью тебя начнет мучить нервическая бессонница, не злись, а молись,

---

<sup>1</sup> «Записки учителя фехтования» (*фр.*).

<sup>2</sup> Спиритизм — мистическое учение о загробной жизни «духов умерших» и о возможности общения с ними посредством стуков и т. п.

это черти; крести рубашку, твори молитву». Подымаются голоса пастырей, и те даже самой науке советуют не связываться с волшебством, не исследовать «волшебство сие». Коли заговорили даже пастыри, значит дело разрастается не на шутку. Но вся беда в том: черти ли это? Вот бы составившейся в Петербурге ревизионной над спиритизмом комиссии решить этот вопрос! Потому что если решат окончательно, что это не черти, а так какое-нибудь там электричество, какой-нибудь новый вид мировой силы, — то мигом наступит полное разочарование: «Вот, скажут, невидальщина, какая скука!» — и тотчас же все забросят и забудут спиритизм, а займутся, по-прежнему, делом. Но чтобы исследовать: черти ли это? нужно чтобы хоть кто-нибудь из ученых составившейся комиссии был в силах и имел возможность допустить существование чертей, хотя бы только в предположении. Но вряд ли между ними найдется хоть один, в черта верующий, несмотря даже на то, что ужасно много людей, не верующих в Бога, верят, однако же, черту с удовольствием и готовностью. А потому комиссия в этом вопросе некомпетентна. Вся беда моя в том, что я и сам никак не могу поверить в чертей, так что даже и жаль, потому что я выдумал одну самую ясную и удивительную теорию спиритизма, но основанную единственно на существовании чертей; без них вся теория моя уничтожается сама собой. Вот эту-то теорию я и намерен, в завершение, сообщить читателю. Дело в том, что я защищаю чертей: на этот раз на них нападают безвинно и считают их дураками. Не беспокойтесь, они свое дело знают; это-то я и хочу доказать.

Во-первых, пишут, что духи глупы (то есть черти, нечистая сила: какие же тут могут быть другие духи, кроме чертей?), — что когда их зовут и спрашивают (столоверчением), то они отвечают все пустячки, не знают грамматики, не сообщили ни одной новой мыс-

ли, ни одного открытия. Так судить — чрезвычайная ошибка. Ну что вышло бы, например, если б черти сразу показали свое могущество и подавили бы человека открытиями? Вдруг бы, например, открыли электрический телеграф (т.е. в случае, если б он еще не был открыт), сообщили бы человеку разные секреты: «Рой там-то — найдешь клад или найдешь залежи каменного угля» (а кстати, дрова так дороги), — да что, это еще все пустяки! — Вы, конечно, понимаете, что наука человеческая еще в младенчестве, почти только что начинается дело и если есть за ней что-либо обеспеченное, так это покамест лишь то, что она твердо стала на ноги; и вот вдруг посыпался бы ряд открытий вроде таких, что солнце стоит, а земля вокруг него обращается (потому что наверно есть еще много таких же точно, по размерам, открытий, которые теперь еще не открыты, да и не снятся мудрецам нашим); вдруг бы все знания так и свалились на человечество и, главное, совершенно даром, в виде подарка? Я спрашиваю: что бы тогда случилось с людьми? О, конечно, сперва все бы пришли в восторг. Люди обнимали бы друг друга в упоении, они бросились бы изучать открытия (а это взяло бы время); они вдруг почувствовали бы, так сказать, себя осыпанными счастьем, зарытыми в материальных благах; они, может быть, ходили бы или летали по воздуху, пролетали бы чрезвычайные пространства в десять раз скорей, чем теперь по железной дороге; извлекали бы из земли баснословные урожаи, может быть, создали бы химией организмы, и говядины хватило бы по три фунта на человека, как мечтают наши русские социалисты, — словом, ешь, пей и наслаждайся. «Вот, — закричали бы все филантропы, — теперь, когда человек обеспечен, вот теперь только он проявит себя! Нет уж более материальных лишений, нет более заедающей „среды“, бывшей причиною всех пороков, и теперь человек станет прекрасным и праведным! Нет уже более

бесперывного труда, чтобы как-нибудь прокормиться, и теперь все займутся высшим, глубокими мыслями, всеобщими явлениями. Теперь, теперь только настала высшая жизнь!» И какие, может, умные и хорошие люди это закричали бы в один голос и, может быть, всех увлекли бы за собою с новинки, и завопили бы, наконец, в общем гимне: «Кто подобен зверю сему? Хвала ему, он сводит нам огонь с небеси!»

Но вряд ли и на одно поколение людей хватило бы этих восторгов! Люди вдруг увидели бы, что жизни уже более нет у них, нет свободы духа, нет воли и личности, что кто-то у них все украл разом; что исчез человеческий лик, и настал скотский образ раба, образ скотины, с тою разницею, что скотина не знает, что она скотина, а человек узнал бы, что он стал скотиной. И загнило бы человечество; люди покрылись бы язвами и стали кусать языки свои в муках, увидя, что жизнь у них взята за хлеб, за «камни, обращенные в хлебы»<sup>1</sup>. Поняли бы люди, что нет счастья в бездействии, что погаснет мысль не трудящаяся, что нельзя любить своего ближнего, не жертвуя ему от труда своего, что гнусно жить на даровщинку и что *счастье не в счастье, а лишь в его достижении*. Настанет скука и тоска: все сделано и нечего более делать, все известно и нечего более узнавать. Самоубийцы явятся толпами, а не так, как теперь, по углам; люди будут сходиться массами, схватываясь за руки и истребляя себя все вдруг, тысячами, каким-нибудь новым способом, открытым им вместе со всеми открытиями. И тогда, может быть, и возопиют остальные к Богу: «Прав ты, Господи, не единым хлебом жив человек!» Тогда восстанут на чертей и бросят волхование... О, никогда Бог не послал бы такой муки человечеству! И провалится царство чертей! Нет, черти такой

---

<sup>1</sup> Здесь речь идет о евангельском сюжете об искушении Христа дьяволом в пустыне.



важной политической ошибки не сделают. Политики они глубокие и идут к цели самым тонким и здоровым путем (опять-таки если в самом деле тут черти!).

Идея их царства — раздор, то есть на раздоре они хотят основать его. Для чего же им раздор именно тут понадобился? А как же: взять уже то, что раздор страшная сила и сам по себе; раздор, после долгой усобицы, доводит людей до нелепости, до затмения и извращения ума и чувств. В раздоре обидчик, сознав, что он обидел, не идет мириться с обиженным, а говорит: «Я обидел его, стало быть, я должен ему отомстить». Но главное в том, что черти превосходно знают всемирную историю и особенно помнят про все, что на раздоре было основано. Им известно, например, что если стоят секты Европы, оторвавшиеся от католичества, и держатся до сих пор как религии, то единственно потому, что из-за них пролита была в свое время кровь. Кончилось бы, например, католичество, и непременно затем разрушились бы и протестантские секты: против чего же бы им осталось тогда протестовать? Они уж и теперь почти все склонны перейти в какую-нибудь там «гуманность» или даже просто в атеизм, что в них, впрочем, уже давно замечалось, и если все еще лепятся как религии, то потому, что еще до сих пор протестуют. Они еще прошлого года протестовали, да еще как: до самого папы добирались.

О, разумеется, черти в конце концов возьмут свое и раздавят человека «камнями, обращенными в хлебы», как муху: это их главнейшая цель; но они решатся на это не иначе, как обеспечив заранее будущее царство свое от бунта человеческого и тем придав ему долговечность. Но как же усмирить человека? Разумеется: «*divide et impera*» (разъедини противника и восторжествуешь)<sup>1</sup>. А для того надобен раздор. С другой сторо-

---

<sup>1</sup> Этим девизом руководствовался древнеримский сенат по отношению к побежденным народам.

ны, люди соскучатся от камней, обращенных в хлебы, а потому надо приискать им занятие, чтоб не скучали. А раздор ли не занятие для людей!

Теперь проследите, как черти у нас вводят раздор и, так сказать, с первого шагу начинают у нас спиритизм с раздора. Как раз этому способствует наше мечущееся время. Вот уже сколько у нас обидели людей из поверивших спиритизму. На них кричат и над ними смеются за то, что они верят столам, как будто они сделали или замыслили что-либо бесчестное, но те продолжают упорно исследовать свое дело, несмотря на раздор. Да и как им перестать исследовать: черти начинают с краю, возбуждают любопытство, но сбивают, а не разъясняют, путают и явно смеются в глаза. Умный и достойный всякого постороннего уважения человек стоит, хмурит лоб и долго добивается: «Что же это такое?» Наконец махает рукой и уже готов отойти, но в публике хохот пуще, и дело расширяется так, что адепт поневоле остается из самолюбия.

Перед нами ревизионная над спиритизмом комиссия во всеоружии науки. Ожидание в публике, и что же: черти и не думают сопротивляться, напротив, как раз постыднейшим образом пасуют: сеансы не удаются, обман и фокусы явно выходят наружу. Раздается злобный хохот со всех сторон; комиссия удаляется с презрительными взглядами, адепты спиритизма погружаются в стыд, чувство мести закрадывается в сердца обеих сторон. И вот, кажется бы, погибать чертям, так вот нет же. Чуть отвернутся ученые и строгие люди, они мигом и покажут опять какую-нибудь штучку посверхъестественнее своим прежним адептам, и вот те опять уверены пуще прежнего. Опять соблазн, опять раздор! В Париже, прошлым летом, судили одного фотографа за спиритские плутни; он вызывал покойников и снимал с них фотографии; заказов получал пропасть. Но его накрыли, и на суде он во всем сознался, даже

представил и ту даму, которая помогала ему и представляла вызванные тени. Что ж вы думаете, те, которых обманул фотограф, поверили? Ничуть; один из них, говорят, сказал так: «У меня умерло трое детей, а портретов их не осталось; и вот фотограф мне снял с них карточки, все похожи, я всех узнал. Какое мне теперь дело, что он сознался вам в плутовстве? На то у него свой расчет, а у меня в руках факт, и оставьте меня в покое». Это было в газетах; не знаю, так ли я передал подробности, но сущность верна. Ну что, например, если у нас произойдет такое событие: только что ученая комиссия, кончив дело и обличив жалкие фокусы, отвернется, как черти схватят кого-нибудь из упорнейших членов ее, ну хоть самого г-на Менделеева, обличившего спиритизм на публичных лекциях, и вдруг разом уловят его в свои сети, как уловили в свое время Крукса и Олькота, — отведут его в сторонку, подымут его на пять минут на воздух, оматерьялизуют ему знакомых покойников, и все в таком виде, что уже нельзя усумниться, — ну, что тогда произойдет? Как истинный ученый, он должен будет признать совершившийся факт — и это он, читавший лекции! Какая картина, какой стыд, скандал, какие крики и вопли негодования! Это, конечно, лишь шутка, и я уверен, что с г-ном Менделеевым ничего подобного не случится, хотя в Англии и в Америке черти поступали, кажется, точь-в-точь по этому плану. Ну, а что, если черти, приготовив поле и уже достаточно насадив раздор, вдруг захотят безмерно расширить действие и перейдут уже к настоящему, к серьезному? Это народ насмешливый и неожиданный, и от них станется. Ну что, например, если они вдруг прорвутся в народ, ну хоть вместе с грамотностью? А народ наш так незащищен, так предан мраку и разврату, и так мало, кажется, у него в этом смысле руководителей! Он может поверить новым явлениям с страстью (верит же он Иванам Филиппови-

чам), и тогда — какая остановка в духовном развитии его, какая порча и как надолго! Какое идольское поклонение материализму и какой раздор, раздор: в сто, в тысячу раз больше прежнего, а того-то и надо чертям. А раздор несомненно начнется, особенно если спиритизм добьется стеснения, преследования (а оно может даже неминуемо последовать от остального же народа, не уверовавшего спиритизму) — тогда он мигом разольется, как зажженный керосин, и все запылет. Мистические идеи любят преследование, они им создаются. Каждая такая преследуемая мысль подобна тому самому петролею, которым обливали полы и стены Тюльери зажигатели перед пожаром и который, в свое время, лишь усилит пожар в охраняемом здании. О, черти знают силу запрещенного верования, и, может быть, они уже много веков ждали человечество, когда оно споткнется о столы! Ими, конечно, управляет какой-нибудь огромный нечистый дух, страшной силы и поумнее Мефистофеля, прославившего Гете, по уверению Якова Петровича Полонского<sup>1</sup>.

Без всякого сомнения, я шутил и смеялся с первого до последнего слова, но вот что, однако, хотелось бы мне выразить в заключение: если взглянуть на спиритизм как на нечто, несущее в себе как бы новую веру (а почти все, даже самые трезвые из спиритов наклонны капельку к такому взгляду), то кое-что из вышеизложенного могло бы быть принято и не в шутку. А потому дай Бог поскорей успеха свободному исследованию с обеих сторон; только это одно и поможет как можно скорее искоренить распространяющийся скверный дух, а может быть, и обогатит науку новым открытием. А кричать друг на друга, позорить и изгонять друг друга, за спиритизм, из общества — это, по-моему, значит

---

<sup>1</sup> Имеется в виду стихотворение Я. П. Полонского «Старые и новые духи» (1875).

лишь укреплять и распространять идею спиритизма в самом дурном ее смысле. Это начало нетерпимости и преследования. Чертям того и надо!

### III. Одно слово по поводу моей биографии

На днях мне показали мою биографию, помещенную в «Русском энциклопедическом словаре», издаваемом профессором С.-Петербургского университета И. Н. Березиным (год второй, выпуск V, тетрадь 2-я. 1875 г.) и составленную г-ном В. З. Трудно представить, чтоб на одной полстранице можно было наделать столько ошибок. Я родился не в 1818-м году, а в 1822-м. Покойный брат мой, Михаил Михайлович, издатель журналов «Время» и «Эпоха», был моим старшим братом, а не младшим четырьмя годами. После срока моей каторги, в которую я сослан был в 1849-м году *как государственный преступник* (о характере преступления ни слова не упомянуто у г-на В. З., а сказано лишь, что «замешан был в дело Петрашевского», то есть в Бог знает какое, потому что никто не обязан знать и помнить про дело Петрашевского, а «Энциклопедический словарь» назначается для всеобщих справок, и могут подумать, что я сослан был за грабеж); после каторги я прямо, по воле покойного государя, поступил в рядовые и через три года службы был произведен в офицеры; водворен же на поселении (поселен) в Сибири, как рассказывает г-н В. З., я никогда не был.

Порядок сочинений моих перемешан: повести, принадлежащие к самому первому периоду моей литературной деятельности, отнесены в биографии как к последнему. Таких ошибок множество, и я их не перечисляю, чтоб не утомить читателя, в случае же вызова все укажу. Но есть уже чистые выдумки. Г-н В. З. уверяет, что я был редактором газеты «Русский мир»; объявляю

на это, что редактором газеты «Русский мир» я никогда не бывал, мало того, не напечатал в этом уважаемом издании никогда ни единой строки. Бесспорно, г-н В. З. (г-н Владимир Зотов?) может иметь свою точку зрения и считать самым последним делом, в биографическом сведении о писателе, верное указание на то, когда он родился, какие именно испытал приключения, где, когда и в каком порядке печатал свои произведения, какие труды его считать первоначальными, а какие заключительными, какие издания издавал, какие редактировал и в каких был только сотрудником; тем не менее, хоть для аккуратности, желалось бы побольше толку. Не то, пожалуй, читатели подумают, что и все статьи в словаре г-на Березина составлены так же не-ряшливо.

#### **IV. Одна турецкая пословица**

Кстати и на всякий случай, верну здесь одну турецкую пословицу (настоящую турецкую, не сочиненную): «Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели».

По возможности буду следовать в «Дневнике» моей этой премудрой пословице, хотя, впрочем, и не желал бы связывать себя заранее обещаниями.

# Февраль

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### **I. О том, что все мы хорошие люди. Сходство русского общества с маршалом Мак-Магоном**

Первый № «Дневника писателя» был принят приветливо; почти никто не бранил, то есть в литературе, а там дальше я не знаю. Если и была литературная брань, то незаметная, «Петербургская газета» поспешила напомнить публике в передовой статье, что я не люблю детей, подростков и молодое поколение, и в том же № внизу, в своем фельетоне, перепечатала из моего «Дневника» целый рассказ: «Мальчик у Христа на елке», по крайней мере, свидетельствующий о том, что я не совсем ненавижу детей. Впрочем, это все пустяки, а занимателен для меня лишь вопрос: хорошо или не хорошо, что я всем угодил? Дурной или хороший это признак? Может быть ведь и дурной? А впрочем, нет, зачем же, пусть лучше это будет хороший, а не дурной признак, на том и остановлюсь.

Да и в самом деле: ведь мы все хорошие люди, ну, разумеется, кроме дурных. Но вот что замечу к слову: у нас, может быть, дурных-то людей и совсем нет, а есть разве только дрянные. До дурных мы не доросли. Не смейтесь надо мной, а подумайте: мы ведь до того доходили, что за неимением своих дурных людей (опять-таки при обилии всяких дрянных) готовы были, например, чрезвычайно ценить, в свое время, разных дурных человечков, появ-

лявшихся в литературных наших типах и заимствованных большею частию с иностранного. Мало того, что ценили, — рабски старались подражать им в действительной жизни, копировали их и в этом смысле даже из кожи лезли. Вспомните: мало ли у нас было Печоринных, действительно и в самом деле наделавших много скверностей по прочтении «Героя нашего времени». Родоначальником этих дурных человечков был у нас в литературе Сильвио, в повести «Выстрел», взятый простодушным и прекрасным Пушкиным у Байрона. Да и сам-то Печорин убил Грушницкого потому только, что был не совсем казист собой в своем мундире и на балах высшего общества, в Петербурге, мало походил на молодца в глазах дамского пола. Если же мы так в свое время ценили и уважали этих злых человечков, то единственно потому, что они являлись как люди будто бы *прочной* ненависти, в противоположность нам, русским, как известно, людям весьма непрочной ненависти, а эту черту мы всегда и особенно презирали в себе. Русские люди долго и серьезно ненавидеть не умеют, и не только людей, но даже пороки, мрак невежества, деспотизм, обскурантизм, ну и все эти прочие ретроградные вещи. У нас сейчас готовы помириться, даже при первом случае, ведь не правда ли? В самом деле, подумайте: за что нам ненавидеть друг друга? За дурные поступки? Но ведь это тема прескользкая, прещекотливая и пренесправедливая, — одним словом: обоюдоострая; по крайней мере, в настоящее время за нее лучше не приниматься. Остается ненависть из-за убеждений; но тут-то уж я в высшей степени не верю в серьезность наших ненавистей. Были, например, у нас когда-то славянофилы и западники и очень воевали. Но теперь, с уничтожением крепостного права, закончилась реформа Петра, и наступил всеобщий *sauve qui peut*<sup>1</sup>. И вот, славянофилы и за-

---

<sup>1</sup> потоп; *букв.* — сигнал тревоги: «Спасайся кто может!» (*фр.*).



падники вдруг сходятся в одной и той же мысли, что теперь нужно всего ожидать от народа, что он встал, идет и что он, и только он один, скажет у нас последнее слово. На этом, казалось бы, славянофилам и западникам можно было и примириться; но случилось не так: славянофилы верят в народ, потому что допускают в нем свои собственные, ему свойственные начала, а западники соглашаются верить в народ единственно под тем условием, чтобы у него не было никаких своих собственных начал. Ну вот драка и продолжается; что же бы вы думали? Я даже и в самую драку не верю: драка дракой, а любовь любовью. И почему дерущиеся не могли бы в то же время любить друг друга? Напротив, это даже очень часто у нас случается, в тех случаях, когда подерутся уж слишком хорошие люди. А почему мы не хорошие люди (опять-таки кроме дрянных)? Ведь деремса-то мы главное и единственно из-за того, что теперь вдруг настало время уже не теорий, не журнальных сшибок, а дела и практического решения. Вдруг потребовалось высказать слово положительное — по воспитанию, по педагогике, по железным дорогам, по земству, по медицинской части и т.д., и т.д., на сотни тем, и, главное, все это сейчас и как можно скорее, чтобы не задерживать дела; а так как все мы, за двухсотлетней отвычкой от всякого дела, оказались совершенно неспособными даже на малейшее дело, то естественно, что все вдруг и вцепились друг другу в волосы, и даже так, что чем более кто почувствовал себя неспособным, тем пуше и полез в драку. Что же тут нехорошего, я спрошу вас. Это только трогательно и более ничего. Взгляните на детей: дети дерутся именно тогда, когда еще не научились выражать свои мысли, ну вот точь-в-точь так и мы. Ну и что же, тут вовсе нет ничего безотрадного; напротив, это отчасти доказывает лишь нашу свежесть, и так сказать, непечатость. Положим, у нас, в литературе, например, за неимением мыслей, бранятся всеми словами разом: при-ем невозможный, наивный, у первобытных народов лишь

замечающийся, но ведь, ей-Богу, даже и в этом есть опять нечто почти трогательное: именно эта неопытность, эта детская неумелость даже и выбраться как следует. Я во-все не смеюсь и не глумлюсь: есть у нас повсеместное честное и светлое ожидание добра (это уж как хотите, а это так), желание общего дела и общего блага и это прежде всякого эгоизма, желание самое наивное и полное веры и при этом ничего обособленного, кастового, а если и встречается в маленьких и редких явлениях, то как нечто неприметное и всеми презираемое. Это очень важно, знаете чем: тем, что это не только не мало, но даже и очень много. Ну вот и довольно бы с нас: зачем нам еще какой-то там «прочной ненависти». Честность, искренность нашего общества не только не подвержены сомнению, но даже бьют в глаза. Вглядитесь, и увидите, что у нас прежде всего вера в идею, в идеал, а личные, земные блага лишь потом. О, дурные людишки успевают и у нас обдeldывать свои дела, даже в самом противоположном смысле, и, кажется, в наше время даже несравненно больше, чем когда-либо прежде; но зато эти дрянные людишки никогда у нас не владеют мнением и не предводительствуют, а, напротив, даже будучи наверху честей, бывали не раз принуждаемы рабски подлаживаться под тон людей идеальных, молодых, отвлеченных, смешных для них и бедных. В этом смысле наше общество сходно с народом, тоже ценящим свою веру и свой идеал выше всего мирского и текущего, и в этом даже его главный пункт соединения с народом. Идеализм-то этот приятен и там и тут: утрать его, ведь никакими деньгами потом не купишь. Наш народ хоть и объят развратом, а теперь даже больше чем когда-либо, но никогда еще в нем не было безначалия, и никогда даже самый подлец в народе не говорил: «Так и надо делать, как я делаю», а, напротив, всегда верил и вздыхал, что делает он скверно, а что есть нечто гораздо лучшее, чем он и дела его. А идеалы в народе есть и сильные, а ведь это главное: переменятся обстоятель-

ства, улучшится дело, и разврат, может быть, и соскочит с народа, а светлые-то начала все-таки в нем останутся неизблемее и святее, чем когда-либо прежде. Юношество наше ищет подвигов и жертв. Современный юноша, о котором так много говорят в разном смысле, часто обожает самый простодушный парадокс и жертвует для него всем на свете, судьбою и жизнью; но ведь все это единственно потому, что считает свой парадокс за истину. Тут лишь непросвещение: подоспеет свет, и сами собою явятся другие точки зрения, а парадоксы исчезнут, но зато не исчезнет в нем чистота сердца, жажда жертв и подвигов, которая в нем так светится теперь — а вот это-то и всего лучше. О, другое дело и другой вопрос: в чем именно мы все, ищущие общего блага и сходящиеся повсеместно в желании успеха общему делу, — в чем именно мы полагаем средства к тому? Надо признаться, что у нас в этом отношении совсем не спелись, и даже так, что наше современное общество весьма похоже в этом смысле на маршала Мак-Магона. В одну из поездок своих, весьма недавних, по Франции, почтенный маршал в одной из торжественных ответных речей своих какому-то мэру (а французы такие любители всяких встречных и ответных речей) объявил, что, по его мнению, вся политика заключается для него лишь в слове: «Любовь к отечеству». Мнение это было изречено, когда вся Франция, так сказать, напрягалась в ожидании того, что он скажет. Мнение странное, бесспорно похвальное, но удивительно неопределенное, ибо тот же мэр мог бы возразить его превосходительству, что иною любовью можно и утопить отечество. Но мэр не возразил ничего, конечно, испугавшись получить в ответ: «J'y suis et j'y resté!»<sup>1</sup> — фразу, дальше которой почтенный маршал, кажется, не пойдет. Но хотя бы и так, а все-таки это точь-в-точь как и в нашем обществе: все мы сходимся в любви если не к отечеству, то к общему

---

<sup>1</sup> «Я так сказал, и баста!» (фр.) (букв.: Я здесь и здесь останусь).

делу (слова ничего не значат), — но в чем мы понимаем средства к тому, и не только средства, но и самое-то общее дело, — вот в этом в нас такая же неясность, как и у маршала Мак-Магона. И потому, хоть я и угодил иным и ценю, что мне протянули руку, ценю очень, но все-таки предчувствую чрезвычайные размолвки в дальнейших подробностях, ибо не могу же я во всем и со всеми быть согласным, каким бы складным человеком я ни был.

## **II. О любви к народу. Необходимый контракт с народом**

Я вот, например, написал в январском номере «Дневника», что народ наш груб и невежествен, предан мраку и разврату, «варвар, ждущий света». А между тем я только что прочел в «Братской помощи» (сборник, изданный Славянским комитетом в пользу дерущихся за свою свободу славян), — в статье незабвенного и дорогого всем русским покойного Константина Аксакова, что русский народ — давно уже просвещен и «образован». Что же? Смутился ли я от такого, по-видимому, разногласия моего с мнением Константина Аксакова? Нисколько, я вполне разделяю это же самое мнение, горячо и давно ему сочувствую. Как же я соглашаю такое противоречие? Но в том и дело, что, по-моему, это очень легко согласить, а по другим, к удивлению моему, до сих пор эти обе темы несогласимы. В русском человеке из простонародья нужно уметь отвлекать красоту его от наносного варварства. Обстоятельствами всей почти русской истории народ наш до того был предан разврату и до того был развращаем, соблазняем и постоянно мучим, что еще удивительно, как он дожил, сохранив человеческий образ, а не то что сохранив красоту его. Но он сохранил и красоту своего образа. Кто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось сердце по страданиям наро-

да, тот поймет и извинит всю непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи бриллианты. Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает. А ведь не все же и в народе — мерзавцы, есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем нам путь освещают! Я как-то слепо убежден, что нет такого подлеца и мерзавца в русском народе, который бы не знал, что он подл и мерзок, тогда как у других бывает так, что делает мерзость, да еще сам себя за нее похваливает, в принцип свою мерзость возводит, утверждает, что в ней-то и заключается l'ordre<sup>1</sup> и свет цивилизации, и несчастный кончает тем, что верит тому искренно, слепо и даже честно. Нет, судите наш народ не по тому, чем он есть, а по тому, чем желал бы стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном гармоническом соединении. А если притом и так много грязи, то русский человек и тоскует от нее всего более сам, и верит, что все это — лишь наносное и временное, наваждение дьявольское, что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет. Я не буду вспоминать про его исторические идеалы, про его Сергиев<sup>2</sup>, Феодосиев Печерских<sup>3</sup> и даже про Тихона Задонского<sup>4</sup>. А к стати:

---

<sup>1</sup> Порядок (*фр.*).

<sup>2</sup> Речь идет о Сергии Радонежском (1315–1392) — основателе Троице-Сергиева монастыря, святом русской православной церкви.

<sup>3</sup> Феодосий Печерский (ум. 1074) — основатель и игумен Киево-Печерского монастыря, святой русской православной церкви.

<sup>4</sup> Тихон Задонский (1724–1783) — святой русской православной церкви, особо почитаемый Достоевским.

многие ли знают про Тихона Задонского? Зачем это так совсем не знать и совсем дать себе слово не читать? Некогда, что ли? Поверьте, господа, что вы, к удивлению вашему, узнали бы прекрасные вещи. Но обращусь лучше к нашей литературе: все, что есть в ней истинно прекрасного, то все взято из народа, начиная с смиренного, простодушного типа Белкина, созданного Пушкиным. У нас все ведь от Пушкина. Поворот его к народу в столь раннюю пору его деятельности до того был беспримерен и удивителен, представлял для того времени до того неожиданное новое слово, что объяснить его можно лишь если не чудом, то необычайною великостью гения, которого мы, прибавлю к слову, до сих пор еще оценить не в силах. Не буду упоминать о чисто народных типах, появившихся в наше время, но вспомните Обломова, вспомните «Дворянское гнездо» Тургенева. Тут, конечно, не народ, но все, что в этих типах Гончарова и Тургенева вековечного и прекрасного, — все это от того, что они в них соприкоснулись с народом: это соприкосновение с народом придало им необычайные силы. Они заимствовали у него его простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие, в противоположность всему изломанному, фальшивому, наносному и рабски заимствованному. Не дивитесь, что я заговорил вдруг об русской литературе. Но за литературой нашей именно та заслуга, что она, почти вся целиком, в лучших представителях своих и прежде всей нашей интеллигенции, заметьте себе это, преклонилась перед правдой народной, признала идеалы народные за действительно прекрасные. Впрочем, она принуждена была взять их себе в образец отчасти даже невольно. Право, тут, кажется, действовало скорее художественное чутье, чем добрая воля. Но об литературе пока довольно, да и заговорил я об ней по поводу лишь народа.

Вопрос о народе и о взгляде на него, о понимании его теперь у нас самый важный вопрос, в котором заключа-

ется все наше будущее, даже, так сказать, самый практический вопрос наш теперь. И однако же, народ для нас всех — все еще теория и продолжает стоять загадкой. Все мы, любители народа, смотрим на него как на теорию, и, кажется, ровно никто из нас не любит его таким, каким он есть в самом деле, а лишь таким, каким мы его каждый себе представили. И даже так, что если б народ русский оказался впоследствии не таким, каким мы каждый его представили, то, кажется, все мы, несмотря на всю любовь нашу к нему, тотчас бы отступились от него без всякого сожаления. Я говорю про всех, не исключая и славянофилов; те-то даже, может быть, пуще всех. Что до меня, то я не потаю моих убеждений, именно чтобы определить яснее дальнейшее направление, в котором пойдет мой «Дневник», во избежание недоумений, так что всякий уже будет знать заранее: стоит ли мне протягивать литературную руку или нет? Я думаю так: вряд ли мы столь хороши и прекрасны, чтоб могли поставить самих себя в идеал народу и потребовать от него, чтоб он стал непременно таким же, как мы. Не дивитесь вопросу, поставленному таким нелепым углом. Но вопрос этот у нас никогда иначе и не ставился: «Что лучше — мы или народ? Народу ли за нами или нам за народом?» — вот что теперь все говорят, из тех, кто хоть капельку не лишен мысли в голове и заботы по общему делу в сердце. А потому и я отвечу искренно: напротив, это мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего, и мысли и образа; преклониться пред правдой народной и признать ее за правду, даже и в том ужасном случае, если она вышла бы отчасти и из Четьи-Минеи<sup>1</sup>. Одним словом, мы должны склониться, как блудные дети, двести лет не бывшие дома, но воротившиеся, однако же, все-таки рус-

---

<sup>1</sup> Четьи-Минеи — сборники духовно-учительной литературы, в которых материал для чтения распределен по месяцам и числам.

скими, в чем, впрочем, великая наша заслуга. Но, с другой стороны, преклониться мы должны под одним лишь условием, и это *sine qua non*<sup>1</sup>: чтоб народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой. Не можем же мы совсем перед ним уничтожиться, и даже перед какой бы то ни было его правдой; наше пусть остается при нас, и мы не отдадим его ни за что на свете, даже, в крайнем случае, и за счастье соединения с народом. В противном случае пусть уж мы оба погибаем врознь. Да противоположного случая и не будет вовсе; я же совершенно убежден, что это *нечто*, что мы принесли с собой, существует действительно, — не мираж, а имеет и образ, и форму, и вес. Тем не менее, опять повторяю, многое впереди загадка и до того, что даже страшно и ждать. Предсказывают, например, что цивилизация испортит народ: это будто бы такой ход дела, при котором, рядом с спасением и светом, вторгается столько ложного и фальшивого, столько тревоги и сквернейших привычек, что разве лишь в поколениях впереди, опять-таки, пожалуй, через двести лет, взрастут хорошие семена, а детей наших и нас, может быть, ожидает что-нибудь ужасное. Так ли это по-вашему, господа? Назначено ли нашему народу непременно пройти еще новый фазис разврата и лжи, как прошли и мы его с прививкой цивилизации? (Я думаю, никто ведь не заспорит, что мы начали нашу цивилизацию прямо с разврата?) Я бы желал услышать на этот счет что-нибудь утешительнее. Я очень склонен уверовать, что наш народ такая огромность, что в ней уничтожатся, сами собой, все новые мутные потоки, если только они откуда-нибудь выскочат и потекут. Вот на это давайте руку; давайте способствовать вместе, каждый «микроскопическим» своим действием, чтоб дело обошлось прямее и безошибочнее. Правда, мы сами-то не умеем тут ничего, а только «любим отечество», в средствах не согласимся и еще

---

<sup>1</sup> обязательно (*лат.*).



много раз поссоримся; но ведь если уж решено, что мы люди хорошие, то что бы там ни вышло, а ведь дело-то, под конец, наладится. Вот моя вера. Повторяю: тут двухсотлетняя отвычка от всякого дела и более ничего. Вот через эту-то отвычку мы и покончили наш «культурный период» тем, что повсеместно перестали понимать друг друга. Конечно, я говорю лишь о серьезных и искренних людях, — это они только не понимают друг друга; а спекулянты дело другое: те друг друга всегда понимали...

### III. Мужик Марей

Но все эти professions de foi<sup>1</sup>, я думаю, очень скучно читать, а потому расскажу один анекдот, впрочем, даже и не анекдот; так, одно лишь далекое воспоминание, которое мне почему-то очень хочется рассказать именно здесь и теперь, в заключение нашего трактата о народе. Мне было тогда всего лишь девять лет от роду... но нет, лучше я начну с того, когда мне было двадцать девять лет от роду.

Был второй день светлого праздника. В воздухе было тепло, небо голубое, солнце высокое, «теплое», яркое, но в душе моей было очень мрачно. Я скитался за казармами, смотрел, отсчитывая их, на пали крепкого острожного тына, но и считать мне их не хотелось, хотя было в привычку. Другой уже день по острогу «шел праздник»; каторжных на работу не выводили, пьяных было множество, ругательства, ссоры начинались поминутно во всех углах. Безобразные, гадкие песни, майданы<sup>2</sup> с картежной игрой под нарами, несколько уже избитых до полусмерти каторжных, за особое буйство, собственным судом товарищей и прикрытых

---

<sup>1</sup> исповедания веры (*фр.*).

<sup>2</sup> Майдан (воровской жаргон) — игорный дом или карточная игра.

на нарах тулупами, пока оживут и очнутся; несколько раз уже обнажавшиеся ножи, — все это, в два дня праздника, до болезни истерзало меня. Да и никогда не мог я вынести без отвращения пьяного народного разгула, а тут, в этом месте, особенно. В эти дни даже начальство в острог не заглядывало, не делало обысков, не искало вина, понимая, что надо же дать погулять, раз в год, даже и этим отверженцам и что иначе было бы хуже. Наконец в сердце моем загорелась злоба. Мне встретился поляк М-цкий, из политических; он мрачно посмотрел на меня, глаза его сверкнули и губы затряслись: «Je hais ces brigands!»<sup>1</sup> — проскрежетал он мне вполголоса и прошел мимо. Я воротился в казарму, несмотря на то, что четверть часа тому выбежал из нее как полоумный, когда шесть человек здоровых мужиков бросились, все разом, на пьяного татарина Газина усмирять его и стали его бить; били они его нелепо, верблюда можно было убить такими побоями; но знали, что этого Геркулеса трудно убить, а потому били без опаски. Теперь, воротясь, я заметил в конце казармы, на нарах в углу, бесчувственного уже Газина почти без признаков жизни; он лежал прикрытый тулупом, и его все обходили молча: хоть и твердо надеялись, что завтра к утру очнется, «но с таких побоев, не ровен час, пожалуй, что и помрет человек». Я пробрался на свое место, против окна с железной решеткой, и лег навзничь, закинув руки за голову и закрыв глаза. Я любил так лежать: к спящему не пристанут, а меж тем можно мечтать и думать. Но мне не мечталось; сердце билось беспокойно, а в ушах звучали слова М-цкого: «Je hais ces brigands!» Впрочем, что же описывать впечатления; мне и теперь иногда снится это время по ночам, и у меня нет снов мучительнее. Может быть, заметят и то, что до сегодня я почти ни разу не заговаривал печатно

---

<sup>1</sup> «Ненавижу этих разбойников!» (фр.)

о моей жизни в каторге; «Записки же из Мертвого дома» написал, пятнадцать лет назад, от лица вымышленного, от преступника, будто бы убившего свою жену. Кстати прибавлю как подробность, что с тех пор про меня очень многие думают и утверждают даже и теперь, что я сослан был за убийство жены моей.

Мало-помалу я и впрямь забылся и неприметно погрузился в воспоминания. Во все мои четыре года каторги я вспоминал непрерывно все мое прошедшее и, кажется, в воспоминаниях пережил всю мою прежнюю жизнь снова. Эти воспоминания вставляли сами, я редко вызывал их по своей воле. Начиналось с какой-нибудь точки, черты, иногда неприметной, и потом мало-помалу вырастало в цельную картину, в какое-нибудь сильное и цельное впечатление. Я анализировал эти впечатления, придавал новые черты уже давно прожитому и, главное, поправлял его, поправлял непрерывно, в этом состояла вся забава моя. На этот раз мне вдруг припомнилось почему-то одно незаметное мгновение из моего первого детства, когда мне было всего девять лет от роду, — мгновенье, казалось бы, мною совершенно забытое, но я особенно любил тогда воспоминания из самого первого моего детства. Мне припомнился август месяц в нашей деревне: день сухой и ясный, но несколько холодный и ветреный; лето на исходе, и скоро надо ехать в Москву опять скучать всю зиму за французскими уроками, и мне так жалко покидать деревню. Я прошел за гумна и, спустившись в овраг, поднялся в *Лоск* — так назывался у нас густой кустарник по ту сторону оврага до самой рощи. И вот я забился гуще в кусты и слышу, как недалеко, шагах в тридцати, на поляне, одиноко пашет мужик. Я знаю, что он пашет круто в гору и лошадь идет трудно, и до меня изредка долетает его окрик: «Ну-ну!» Я почти всех наших мужиков знаю, но не знаю, который это теперь пашет, да мне и все равно, я весь погружен в мое дело,

я тоже занят: я выламываю себе ореховый хлыст, чтоб стегать им лягушек; хлысты из орешника так красивы, и так непрочны, куда против березовых. Занимают меня тоже букашки и жучки, я их собираю, есть очень нарядные; люблю я тоже маленьких, проворных, красно-желтых ящериц, с черными пятнышками, но змеек боюсь. Впрочем, змейки попадаются гораздо реже ящериц. Грибов тут мало; за грибами надо идти в березняк, и я собираюсь отправиться. И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками и белками, с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших листьев. И теперь даже, когда я пишу это, мне так и послышался запах нашего деревенского березняка: впечатления эти остаются на всю жизнь. Вдруг, среди глубокой тишины, я ясно и отчетливо услышал крик: «Волк бежит!» Я вскрикнул и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика.

Это был наш мужик Марей. Не знаю, есть ли такое имя, но его все звали Мареем, — мужик лет пятидесяти, плотный, довольно рослый, с сильною проседью в темно-русой окладистой бороде. Я знал его, но до того никогда почти не случалось мне заговорить с ним. Он даже остановил кобыленку, заслышав крик мой, и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другую за его рукав, то он разглядел мой испуг.

— Волк бежит! — прокричал я, задыхаясь.

Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновенье почти мне поверив.

— Где волк?

— Закричал... Кто-то закричал сейчас: «Волк бежит»... — пролепетал я.

— Что ты, что ты, какой волк, померещилось; вишь! Какому тут волку быть! — бормотал он, ободряя меня. Но я весь трясся и еще крепче уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел

на меня с беспокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.

— Ишь ведь испужался, ай-ай! — качал он головой. — Полно, родной. Ишь малец, ай!

Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке.

— Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись. — Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивавших моих губ.

— Ишь ведь, ай, — улыбнулся он мне какою-то материнскою и длинною улыбкой, — Господи, да что это, ишь ведь, ай, ай!

Я понял наконец, что волка нет и что мне крик: «Волк бежит» — померещился. Крик был, впрочем, такой ясный и отчетливый, но такие крики (не об одних волках) мне уже раз или два и прежде мерещились, и я знал про то. (Потом, с детством, эти галлюцинации прошли.)

— Ну, я пойду, — сказал я, вопросительно и робко смотря на него.

— Ну и ступай, а я те вослед посмотрю. Уж я тебя волку не дам! — прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь, — ну, Христос с тобой, ну ступай, — и он перекрестил меня рукой и сам перекрестился. Я пошел, оглядываясь назад почти каждые десять шагов. Марей, пока я шел, все стоял с своей кобыленкой и смотрел мне вслед, каждый раз кивая мне головой, когда я оглядывался. Мне, признаться, было немножко перед ним стыдно, что я так испугался, но шел я, все еще очень побаиваясь волка, пока не поднялся на косогор оврага, до первой риги; тут испуг соскочил совсем, и вдруг откуда ни возьмись бросилась ко мне наша дворовая собака Волчок. С Волчком-то я уж вполне ободрился и обернулся в последний раз к Марее; лица его я уже не мог разглядеть ясно, но чувствовал, что он все точно так же мне ласково улыбается и кивает головой.

Я махнул ему рукой, он махнул мне тоже и тронул кобыленку.

— Ну-ну! — слышался опять отдаленный окрик его, и кобыленка потянула опять свою соху.

Все это мне разом припомнилось, не знаю почему, но с удивительной точностью в подробностях. Я вдруг очнулся и присел на нарах и, помню, еще застал на лице моем тихую улыбку воспоминания. С минуту еще я продолжал припоминать.

Я тогда, придя домой от Марeya, никому не рассказывал о моем «приключении». Да и какое это было приключение? Да и об Марее я тогда очень скоро забыл. Встречаясь с ним потом изредка, я никогда даже с ним не заговаривал, не только про волка, да и ни об чем, и вдруг теперь, двадцать лет спустя, в Сибири, припомнил всю эту встречу с такою ясностью, до самой последней черты. Значит, залегла же она в душе моей неприметно, сама собой и без воли моей, и вдруг припомнилась тогда, когда было надо; припомнилась эта нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его покачиванье головой: «Ишь ведь, испужался, малец!» И особенно этот толстый его, запачканный в земле палец, которым он тихо и с робкою нежностью прикоснулся к вздрагивавшим губам моим. Конечно, всякий бы ободрил ребенка, но тут в этой уединенной встрече случилось как бы что-то совсем другое, и если б я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлую любовью взглядом, а кто его заставлял? Был он собственный крепостной наш мужик, а я все же его барчонок; никто бы не узнал, как он ласкал меня, и не наградил за то. Любил он, что ли, так уж очень маленьких детей? Такие бывают. Встреча была уединенная, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какою тонкою, почти женственной

нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, еще и не ждавшего, не гадавшего тогда о своей свободе. Скажите, не это ли разумел Константин Аксаков, говоря про высокое образование народа нашего?

И вот, когда я сошел с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что вдруг, каким-то чудом, исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь в встречавшиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце. Встретил я в тот же вечер еще раз и М-цкого. Несчастный! У него-то уж не могло быть воспоминаний ни об каких Марейях и никакого другого взгляда на этих людей, кроме «Je hais ces brigands!» Нет, эти поляки вынесли тогда более нашего!

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### І. По поводу дела Кронеберга

Я думаю, все знают о деле Кронеберга, производившемся с месяц назад в с.-петербургском окружном суде, и все читали отчеты и суждения в газетах. Дело слишком любопытное, и отчеты о нем были замечательно горячие. Опоздав месяц, я не буду подымать его в подробности, но чувствую потребность сказать и мое слово по поводу. Я совсем не юрист, но тут столько оказалось фальши со всех сторон, что она и не юристу очевидна. Подобные дела выпрыгивают как-то нечаянно и только смущают общество и, кажется, судей. А так как касаются при том всеобщего и самого драгоценного интереса, то понятно, что затрагивают за живое, и об них иной раз нельзя не заговорить, хотя бы прошел тому уже месяц, то есть целая вечность.

Напомню дело: отец высек ребенка, семилетнюю дочь, слишком жестоко; по обвинению — обходился с нею жестоко и прежде. Одна посторонняя женщина, из простого звания, не стерпела криков истязаемой девочки, четверть часа (по обвинению) кричавшей под розгами: «Папа! Папа!» Розги же, по свидетельству одного эксперта, оказались не розгами, а «шпицрутенами», то есть невозможными для семилетнего возраста. Впрочем, они лежали на суде в числе вещественных доказательств, и их все могли видеть, даже сам г-н Спасович. Обвинение, между прочим, упоминало и о том, что отец перед сечением, когда ему заметили, что вот хоть этот сучок надо бы отломить, ответил: «Нет, это придает еще силы». Известно тоже, что отец после наказания сам почти упал в обморок.

Помню, какое первое впечатление произвел на меня номер «Голоса», в котором я прочел начало дела, первое изложение его. Это случилось со мной в десятом часу вечера, совсем нечаянно. Я весь день просидел в типографии и не мог проглядеть «Голос» раньше и об возникшем деле ничего не знал. Прочитав, я решился во что бы ни стало, несмотря на поздний час, узнать в тот же вечер о дальнейшем ходе дела, предполагая, что оно могло уже, пожалуй, и кончиться в суде, может быть, даже в тот же самый день, в субботу, и зная, что отчеты в газетах всегда опаздывают. Я вздумал тотчас же съездить к одному слишком мне известному, хотя и очень мало знакомому человеку, рассчитывая по некоторым соображениям, что ему, в данную минуту, скорее всех моих знакомых может быть известно окончание дела, и что даже наверно, может быть, он и сам был в суде. Я не ошибся, он был в суде и только что воротился; я застал его, в одиннадцатом часу, уже дома, и он сообщил мне об оправдании подсудимого. Я был в негодовании на суд, на присяжных, на адвоката. Теперь этому делу уже три недели, и я во многом переменил мнение, прочтя сам отчеты газет и выслушав



несколько веских посторонних суждений. Я очень рад, что судившегося отца могу уже не принимать за злодея, за любителя детских мучений (такие типы бывают), и что тут всего только «нервы», и что он только «худой педагог», по выражению его же защитника. Я, главное, желаю теперь лишь указать в некоторой подробности на речь адвоката-защитника в суде, чтобы яснее обозначить — в какое фальшивое и нелепое положение может быть поставлен иной известный, талантливый и честный человек, единственно лишь фальшью первоначальной постановки самого дела.

В чем же фальшь? Во-первых, вот девочка, ребенок; ее «мучили, истязали», и судьи хотят ее защитить, — и вот какое бы уж, кажется, святое дело, но что ж выходит: ведь чуть не сделали ее навеки несчастною; даже, может быть, уже сделали! В самом деле, что если б отца осудили? Дело было поставлено обвинением так, что в случае обвинительного приговора присяжных отец мог быть сослан в Сибирь. Спрашивается, что осталось бы у этой дочери, теперь ничего не смыслящего ребенка, потом в душе, на всю жизнь, и даже в случае, если б она была потом всю жизнь богатою, «счастливою»? Не разрушено ли б было семейство самим судом, охраняющим, как известно, святыню семьи? Теперь возьмите еще черту: девочке семь лет, — каково впечатление в таких летах? Отца ее не сослали и оправдали, хорошо сделали (хотя аплодировать решению присяжных, по-моему, публике бы и не следовало, а аплодисмент, говорят, раздался); но все же девочку притянули в суд, она фигурировала; она все видела, все слышала, сама отвечала за себя: «Je suis voleuse, menteuse»<sup>1</sup>. Открыты были взрослыми и серьезными людьми, гуманными даже людьми, вслух перед всей публикой — секретные пороки ребеночка (это семилетнего-то!) — какая чудовищность! Mais il en

---

<sup>1</sup> «Я воровка, лгунья» (фр.).

reste toujours quelque chose<sup>1</sup>, на всю жизнь, поймите вы это! И не только в душе ее останется, но, может быть, отразится и в судьбе ее. Что-то уж прикоснулось к ней теперь, на этом суде, гадкое, нехорошее, навеки и оставило след. И, кто знает, может быть, через двадцать лет ей кто-нибудь скажет: «Ты еще ребенком в уголовном суде фигурировала». Впрочем, опять-таки я вижу, что я не юрист и всего этого не сумею выразить, а потому лучше обращусь прямо к речи защитника: в ней все эти недоразумения чрезвычайно ярко и сами собой выставились. Защитником подсудимого был г-н Спасович; это талант. Где ни заговорят о г-не Спасовиче, все, повсеместно, отзываются о нем: «Это талант». Я очень рад тому. Замечу, что г-н Спасович был назначен к защите судом и, стало быть, защищал, так сказать, вследствие некоторого понуждения... Впрочем, тут я опять не компетентен и умолкаю. Но прежде, чем коснусь вышеупомянутой и замечательной речи, мне хочется включить несколько слов об адвокатах вообще и о талантах в особенности, так сказать, сообщить читателю несколько впечатлений и недоумений моих, конечно, может быть, крайне не серьезных в глазах людей компетентных, но ведь я пишу мой «Дневник» для себя, а мысли эти крепко у меня засели. Впрочем, сознаюсь, это даже и не мысли, а так все какие-то чувства...

## **II. Нечто об адвокатах вообще. Мои наивные и необразованные предположения. Нечто о талантах вообще и в особенности**

Впрочем, собственно об адвокатах лишь два слова. Только лишь взял перо и уж боюсь. Заранее краснею

---

<sup>1</sup> Но ведь какой-то след непременно останется (*фр.*).

за наивность моих вопросов и предположений. Ведь слишком уж было бы наивно и невинно с моей стороны распространяться, например, о том, какое полезное и приятное учреждение адвокатура. Вот человек совершил преступление, а законов не знает; он готов сознаться, но является адвокат и доказывает ему, что он не только прав, но и свят. Он подводит ему законы, он подыскивает ему такое руководящее решение кассационного департамента сената, которое вдруг дает делу совсем иной вид, и кончает тем, что вытягивает из ямы несчастного. Преприятная вещь! Положим, тут могут поспорить и возразить, что это отчасти безнравственно. Но вот перед вами невинный, совсем уж невинный, простячок, а улики, однако, такие и прокурор их так сгруппировал, что совсем бы, кажется, погибать человеку за чужую вину. Человек притом темный, законов ни в зуб и только знает бормочет: «Знать не знаю, ведать не ведаю», — чем под конец раздражает и присяжных, и судей. Но является адвокат, съевший зубы на законах, подводит статью, подводит руководящее решение кассационного департамента сената, сбивает с толку прокурора, и вот — невинный оправдан. Нет, это полезно. Что бы стал делать у нас невинный без адвоката?

Все это, повторяю, рассуждения наивные и всем известные. Но все-таки чрезвычайно приятно иметь адвоката. Я сам испытал это ощущение, когда однажды, редактируя одну газету, вдруг нечаянно, по недосмотру (что со всеми случается) пропустил одно известие, которое не мог напечатать иначе, как с разрешения г-на министра двора. И вот мне вдруг объявили, что я под судом. Я и защищаться-то не хотел; «вина» моя была даже и мне очевидна: я преступил ясно начертанный закон, и *юридического* спору быть не могло. Но суд мне назначил адвоката (человека несколько мне знакомого и с которым мы заседали прежде в одном «Обществе»). Он мне вдруг объявил, что я не только не виноват, но

и совершенно прав, и что он твердо намерен отстоять меня изо всех сил. Я выслушал это, разумеется, с удовольствием; когда же настал суд, то, признаюсь, я вынес совершенно неожиданное впечатление: я видел и слушал, как говорил мой адвокат, и мысль о том, что я, совершенно виноватый, вдруг выхожу совсем правым, была так забавна и в то же время так почему-то привлекательна, что, признаюсь, эти полчаса в суде я отношу к самым веселым в моей жизни; но ведь я был не юрист и потому не понимал, что совершенно прав. Меня, конечно, осудили: литераторов судят строго; я заплатил двадцать пять рублей и, сверх того, отсидел два дня на Сенной, на абвахте, где провел время премило, даже с некоторою пользою и кое с кем и с чем познакомился. А впрочем, я чувствую, что сильно соскочил в сторону; перейду опять к серьезному.

В высшей степени нравственно и умирительно, когда адвокат употребляет свой труд и талант на защиту несчастных; это друг человечества. Но вот у вас является мысль, что он заведомо защищает и оправдывает виновного, мало того, что он иначе и сделать не может, если б и хотел. Мне ответят, что суд не может лишить помощи адвокатской никакого преступника и что честный адвокат всегда в этом случае останется честным, ибо всегда найдет и определит настоящую степень виновности своего клиента, но лишь не даст его наказать сверх меры и т.д., и т.д. Это так, хотя это предположение и похоже на самый безграничный идеализм. Мне кажется, что избежать фальши и сохранить честность и совесть адвокату так же трудно, вообще говоря, как и всякому человеку достигнуть райского состояния. Ведь уж случалось нам слышать, как адвокаты почти клянутся в суде, вслух, обращаясь к присяжным, что они — единственно потому только взялись защищать своих клиентов, что вполне убедились в их невинности. Когда вы выслушиваете эти клятвы, в вас тотчас

же и неотразимо вселяется самое скверное подозрение: «А ну, если лжет и только деньги взял?» И действительно, очень часто выходило потом, что эти, с таким жаром защищаемые клиенты, оказывались вполне и бесспорно виновными. Я не знаю, бывали ли у нас случаи, что адвокаты, желая до конца выдержать свой характер вполне убежденных в невинности своих клиентов людей, падали в обморок, когда присяжные выносили обвинительный приговор? Но что проливали слезы, то это, кажется, уже случалось в нашем столь молодом еще суде. Как хотите, а тут, во всем этом установлении, сверх всего бесспорно прекрасного, заключается как бы нечто грустное. Право: мерещатся «Подковырники-Клещи», слышится народное словцо: «адвокат — нанятая совесть»; но главное, кроме всего этого, мерещится нелепейший парадокс, что адвокат и никогда не может действовать по совести, не может не играть своею совестью, если б даже и хотел не играть, что это уже такой обреченный на бессовестность человек и что, наконец, самое главное и серьезное во всем этом то, что такое грустное положение дела как бы даже узаконено кем-то и чем-то, так что считается уже вовсе не уклонением, а, напротив, даже самым нормальным порядком...

Впрочем, оставим; чувствую из всех сил, что заговорил не на свою тему. И даже уверен, что юридической наукой все эти недоразумения давным-давно уже разрешены, к полному спокойствию всех и каждого, а только я один из всех про это ничего не знаю. Поговорю лучше о таланте; все же я тут хоть капельку да компетентнее.

Что такое талант? Талант есть, во-первых, препознательная вещь. Литературный талант, например, есть способность сказать или выразить хорошо там, где бездарность скажет и выразит дурно. Вы скажете, что прежде всего нужно направление и уже после талант. Пусть, согласен, я не о художественности собрался го-

ворить, а лишь о некоторых свойствах таланта, говоря вообще. Свойства таланта, говоря вообще, чрезвычайно разнообразны и иногда просто несносны. Во-первых, talent oblige<sup>1</sup>, «талант обязывает» — к чему, например? Иногда к самым дурным вещам. Представляется неразрешимый вопрос: талант ли обладает человеком или человек своим талантом? Мне кажется, сколько я ни следил и ни наблюдал за талантами, живыми и мертвыми, чрезвычайно редко человек способен совладать с своим дарованием, и что, напротив, почти всегда талант поработает себе своего обладателя, так сказать, как бы схватывая его за шиворот (да, именно в таком унижительном нередком виде) и унося его на весьма далекие расстояния от настоящей дороги. У Гоголя где-то (забыл где) один враль начал об чем-то рассказывать и, может быть, сказал бы правду, «но сами собою представились такие подробности» в рассказе, что уж никак нельзя было сказать правду. Это я, конечно, лишь для сравнения, хотя действительно есть таланты собственно вралей или вранья. Романист Теккерей, рисуя одного такого светского вряля и забавника, порядочного впрочем общества, и шатавшегося по лордам, рассказывает, что он, уходя откуда-нибудь, любил оставлять после себя взрыв смеха, то есть приберегал самую лучшую выходку или остроуту к концу. Знаете что: мне кажется, очень трудно оставаться и, так сказать, уберечь себя честным человеком, когда так заботишься прибереечь самое меткое словцо к концу, чтобы оставить по себе взрыв смеха. Самая забота эта так мелочна, что под конец должна выгнать из человека все серьезное. И к тому же если меткое словцо к концу не припасено, то его надо ведь выдумать, а для красного словца

не пожалеешь матери и отца.

---

<sup>1</sup> Перефразированное крылатое выражение «noblesse oblige» (достоинство обязывает).

Скажут мне, что если такие требования, то и жить нельзя. Это правда. Но во всяком таланте, согласитесь сами, есть всегда эта некоторая почти неблагоприятная, излишняя «отзывчивость», которая всегда тянет увлечь самого трезвого человека в сторону,

Ревет ли зверь в лесу глухом...<sup>1</sup>

или там что бы ни случилось, тотчас же и пошел, и пошел человек, и взыграл, и размазался, и увлекся. Эту излишнюю «отзывчивость» Белинский, в одном разговоре со мной, сравнил, так сказать, с «блудодействием таланта» и презирал ее очень, подразумевая, конечно, в антитезе, некоторую крепость души, которая бы могла всегда совладать с отзывчивостью, даже и при самом крепком поэтическом настроении. Белинский говорил это про поэтов, но ведь и все почти таланты хоть капельку да поэты, даже столяры, если они талантливы. Поэзия есть, так сказать, внутренний огонь всякого таланта. А если уж столяр бывает поэтом, то наверно и адвокат, в случае если тоже талантлив. Я несколько не спору, что при суровой честности правил и при твердости духа даже и адвокат может справиться с своею «отзывчивостью»; но есть случаи и обстоятельства, когда человек и не выдержит: «представятся само собою такие подробности» и — увлечется человек. Господа, все, что я здесь говорю об этой отзывчивости, почти вовсе не пустяки; как это ни просто по-видимому, но это чрезвычайно важное дело, даже в каждой жизни, даже у нас с вами: вникните глубже и дайте отчет и вы увидите, что чрезвычайно трудно остаться честным человеком иногда именно через эту самую излишнюю и разбалованную «отзывчивость»,

---

<sup>1</sup> Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Эхо» (1831).

принуждающую нас лгать беспрерывно. Впрочем, слово честный человек я разумею здесь лишь в «высшем смысле», так что можно оставаться вполне спокойным и не тревожиться. Да и уверен, что с моих слов никто и не затревожится. Продолжаю. Помнит ли кто из вас, господа, про Альфонса Ламартина, бывшего, так сказать, предводителя временного правительства в февральскую революцию сорок восьмого года? Говорят, ничего не было для него приятнее и прелестнее, как говорить бесконечные речи к народу и к разным депутациям, приходившим тогда со всей Франции, из всех городов и городишек, чтоб представиться временному правительству, в первые два месяца по провозглашении республики. Речей этих произнес он тогда, может быть, несколько тысяч. Это был поэт и талант. Вся жизнь его была невинна и полна невинности, и все это при прекрасной и самой внушительной наружности, созданной, так сказать, для кипсеков<sup>1</sup>. Я вовсе не приравниваю этого исторического человека к тем типам отзывчиво-поэтических людей, которые, так сказать, так и рождаются с соплей на носу, хотя, впрочем, он и написал «*Harmonies poétiques et religieuses*»<sup>2</sup> — необыкновенный том бесконечно долговязых стихов, в которых увязло три поколения барышень, выходивших из институтов. Но зато он написал потом чрезвычайно талантливую вещь: «Историю жирондистов», доставившую ему популярность и, наконец, место как бы шефа временного революционного правительства, — вот именно когда он и насказал столько бесконечных речей, так сказать, упиваясь ими первый и плавая в каком-то вечном восторге. Один талантливый остряк, указывая раз тогда на него, вскричал:

<sup>1</sup> Кипсек (*англ.* keepsake) — подарочное иллюстрированное издание, выпускавшееся в виде ежегодного альманаха.

<sup>2</sup> «Поэтические и религиозные гармонии» (*фр.*).



«Ce n'est pas l'homme, c'est une lyre!» («Это не человек: это лира!»).

Это была похвала, но высказана она была с глубоким плутовством, ибо что, скажите, может быть смешнее, как приравнять человека к лире? Только прикоснуться — и сейчас зазвенела! Само собою, что невозможно приравнять Ламартина, этого вечно говорившего стихами человека, этого оратора-лиру, к кому-нибудь из наших шустрых адвокатов, плутоватых даже в своей невинности, всегда собою владеющих, всегда изворотливых, всегда наживающихся? Им ли не совладать с своими лирами? Но так ли это? Истинно ли это так, господа? Слаб человек к похвале и «отзывчив», даже и плутоватый! С иным нашим адвокатским талантом, взамен «лиры», может случиться в иносказательном роде то же самое, что случилось с одним московским купчиком. Помер его папаша и оставил ему капитал (читайте капитал, ударение на *и*). Но мамаша его тоже вела какую-то коммерцию на свое имя и запуталась. Надо было выручить мамашу, то есть заплатить много денег. Купчик очень любил маменьку, но приостановился: «Все же нам никак нельзя без капиталу. Это чтоб капиталу нашего решиться — это нам никоим образом невозможно, потому как нам никак невозможно, чтобы самим без капиталу». Так и не дал ничего, и маменьку потянули в яму. Примите за аллегория и приравняйте талант к капиталу, что даже и похоже, и выйдет такая речь: «Это чтоб нам без блеску и еффекту, это нам никоим образом невозможно, потому как нам никак невозможно, чтобы нам совсем без блеску и еффекту». И это может случиться даже с серьезнейшим и честнейшим из адвокатских талантов даже в ту самую минуту, когда он примется защищать дело, хотя бы претящее его совести. Я читал когда-то, что во Франции, давно уже, один адвокат, убедясь по ходу дела в виновности своего клиента, когда пришло время его защитительной